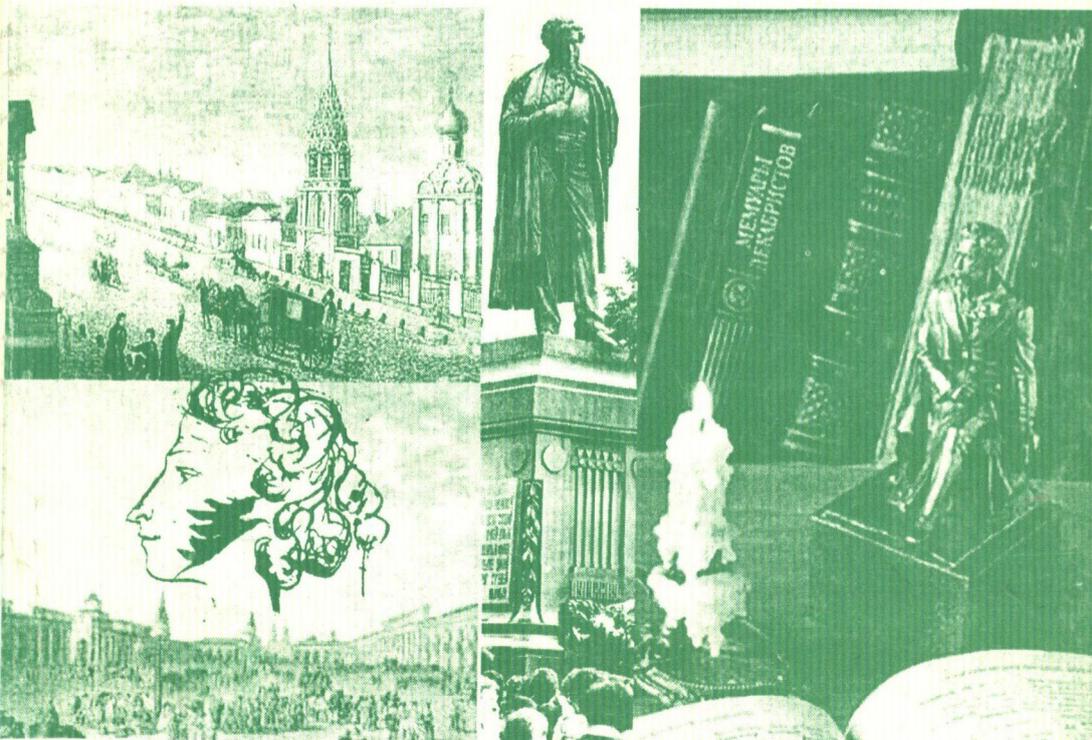


517
1169

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина
«Михайловское»



МИХАЙЛОВСКАЯ ПУШКИНИАНА

Выпуск 14

Сборник научных статей
по материалам конференции

«У каждого времени свой Пушкин»

2001

Н.К. ТЕЛЕТОВА

*кандидат филологических наук,
Институт им. И.Е.Репина Академии художеств
(г. Санкт-Петербург)*

Набоков и Цветаева о Пушкине как современнике

Марине Ивановне Цветаевой принадлежат слова: «У каждого времени свой Пушкин». В соответствии с этой формулой ею написана статья «Мой Пушкин» (1937), а до того цикл «Стихи к Пушкину» (1931). Однако, прежде чем обратиться к ее времени, следует обозреть вкратце движение Пушкина в нашу сторону.

Первый этап – прижизненное признание поэта, затем восхищение и слава, отнюдь не делающая его жизнь в материальном отношении обеспеченной, а в общественном положении – спокойной.

Те, кто приняли его творчество как Абсолют, понимали все это, но стремительность жизни поэта, влекущей его по руслу какой-то особой Судьбы, не позволяла в эту Судьбу вмешаться. Это понял и сказал Лермонтов – точнее и полнее всех, сразу после гибели великого своего предшественника, тоже обреченный, сам себя отправивший по пути той же Судьбы. Один в 37 лет, другой – в 27, сраженные – почти что по своей воле, ибо их тонкая организация не могла побеждать, не могла бороться с теми обстоятельствами, а порою и фантомами, которые, встречаясь на пути обыкновенных людей, Судьбою не избранных, не приводили к роковым смертельным поединкам.

Гибель Лермонтова означала конец золотого века русской поэзии. Она была и концом пушкинской эпохи, с ее поклонением античной красоте – мере всех вещей, любви и дружеству, как их в свое время понимали Катулл и Гораций.

Вера в эти ценности естественно сливалась с религиозным чувством, насыщая его радостью, как у творцов эпохи Ренессанса.

В.В.Розанов полагал, что смерть Лермонтова «срезала кронку» в естественном развитии русской литературы – и дерево стало давать боковые ветви, а не расти вверх. В Лермонтове «таились электроны таких созданий, которые совершенно в иную и теперь



иллюстрирует не только присутствие в художественном мире А.Н. Толстого пушкинского начала, но и то, что в жизни А.Н. Толстого – человека и литературно-общественного деятеля Пушкин также занимает видное место.

Профессор Московского государственного педагогического университета, доктор филологических наук Е.Н. Черноземова в докладе отмечает, что Пушкин, с одной стороны, «одним из первых вывел русскую литературу на европейское пространство... С другой стороны как заботливый и мудрый «министр иностранных дел...» ввел в русскую литературу вечные литературные образы европейской культуры, тщательно отбирая материал, придавая ему русское звучание». Этот постулат лежит в основе анализа взаимодействия творчества Пушкина с английской культурой.

Доктор исторических наук В.П. Старк (Пушкинский Дом РАН) в докладе «Пушкин в представлении Пушкина» подчеркивает, что «основные пути постижения мира Пушкина, будь то обращение к документами воспоминаниям современников или анализ переписки, особенно же извлечение биографии из творчества, так или иначе замыкались на том, как он сам хотел представить себя потомству». В этом «ключе» автор анализирует многие эпизоды биографии Пушкина, в том числе михайловского периода.

Профессор МГУ, доктор филологических наук С.И. Кормилов в своем докладе «О теоретико-литературных представлениях Пушкина» привлекает обширный материал в анализе отношения Пушкина к литературной критике и к теории литературы.

В докладе старшего научного сотрудника музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» М.А. Бесарабовой представлен критико-аналитический обзор взглядов ряда отечественных ученых-литературоведов на влияние фольклора, «народности» на творческий процесс Пушкина; приведена «расшифровка» многих народных примет, обычаев, фольклорных образов в поэзии Пушкина, в том числе михайловского периода.

Пушкинские традиции в лирике Н.А. Некрасова прослежены в докладе заведующей кафедрой литературы Псковского педагогического института доктора филологических наук Н.Л. Вершининой.

В докладе «Неизвестный вариант реконструкции десятой главы «Евгения Онегина» заведующая научно-методическим отделом Государственного музея А.С. Пушкина (Москва) В.А. Невская отмечает, что десятая глава этого романа, несмотря на обилие исследовательских работ, ей посвященных, «не утратила своей таинственности», и предлагает анализ неизвестного варианта реконструкции десятой главы «Евгения Онегина».

Кандидат филологических наук Н.К. Телетова (Институт им. И.Е. Репина Академии художеств, г. Санкт-Петербург) анализирует в своем докладе оценку, данную Цветаевой и Набоковым Пушкину как современнику.

В.С. Бозырев,

заведующий редакционно-издательским отделом
Государственного музея-заповедника
А.С. Пушкина «Михайловское»

Предисловие

Настоящий сборник состоит из докладов, прочитанных на научной конференции в Пушкинских Горах в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» 21-22 августа 2000 года, посвященной 176-й годовщине со дня приезда А.С. Пушкина в михайловскую ссылку. На этот раз традиционная августовская конференция проходила под девизом «У каждого времени свой Пушкин». Участниками конференции были ученые-литературоведы, преподаватели вузов, научные сотрудники пушкинских и литературных музеев из Москвы, Петербурга, Казани, Пскова, Пушкинских Гор.

В докладе «Проблемы жизни и творчества Пушкина в оценке пушкинистов XX века» руководителя Пушкинской программы Российского фонда культуры кандидата филологических наук И.Ю. Юрьевой (Москва) анализируется лишь один аспект – «отражение в творчестве Пушкина религиозного восприятия им царской власти». Автор заключает доклад выводом: «Признание Царя помазанником Божиим и главой православной церкви – необходимая предпосылка дальнейшей научной разработки темы «Пушкин и самодержавие». Только в этом случае снимаются «вечные вопросы» пушкиноведения и все становится на свои места – отношение Пушкина к декабристам и к царской цензуре, многолетнее неприятие Александра I и восторженные стихи Николаю I через несколько месяцев после казни декабристов.

Старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Казанского университета кандидат филологических наук М.М. Сидорова в докладе «А.С. Пушкин в оценке профессоров Казанского университета XIX в.» прослеживает эволюцию в преподавании творчества Пушкина в качественном и объемном отношении в последующие после смерти поэта десятилетия. На примере одного из старейших в России Казанского университета автор обобщает это явление, распространяя его на преподавание творчества Пушкина в других крупных российских университетах: Московском, Петербургском, Харьковском, Дерптском.

Заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Казанского университета доцент Л.Я. Воронова на богатом историко-литературном материале показывает работу Пушкинского общества в Казанском университете на рубеже XIX-XX вв., которому за короткое время «удалось стать центром живой научной деятельности в Казани, пробудить и развить в публике интерес к своим занятиям, служить, в лице своих членов, примером и образцом серьезной научной и просветительной работы».

Свой доклад «Поэт и музей» заведующая экспозиционным отделом И.Ю. Парчевская определила как попытку «показать на некоторых примерах, как складывались в 1960-1970-е годы отношения отечественных поэтов с музеем Поэта; как сегодняшний поэт может «взглянуть на музей глазами одиночного посетителя, знающего и независимого».

Кандидат филологических наук А.П. Руднев (Москва) в докладе «Пушкин в художественном мире А.Н. Толстого» многочисленными примерами



ББК83.3 (2Рос-Рус)

Михайловская пушкиниана: Выпуск 14. Сборник научных статей по материалам конференции «У каждого времени свой Пушкин». – М., «Вербум-М». 2001. – 128 с.

ISBN 5-8391-0073-0

В сборнике публикуются сообщения, доклады и тезисы выступлений участников научной конференции, посвященной 176-й годовщине со дня приезда А.С. Пушкина в михайловскую ссылку «У каждого времени свой Пушкин» (21-22 августа 2000 г., пос. Пушкинские Горы).

С докладами и сообщениями выступили сотрудники музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», сотрудники музея А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, Москве, преподаватели университетов, Института им. И.Е. Репина Академии художеств, ИРЛИ (Пушкинский Дом) и др.

Материалы указанной конференции интересны как профессионалам, исследующим жизнь и творчество поэта, так и широкому кругу читателей.

ББК 83.3 (2Рос-Рус)

ISBN 5-8391-0073-0

- © Текст, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», 2001.
- © Оформление, оригинал-макет, Издательство «Вербум-М», 2001.



*Министерство культуры Российской Федерации
Государственный мемориальный историко-литературный
и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина
«Михайловское»*

МИХАЙЛОВСКАЯ ПУШКИНИАНА

Выпуск 14

Сборник научных статей
по материалам конференции
«У каждого времени свой Пушкин»

Москва
2001

неразгадываемую форму вылили бы все наше последующее развитие».*

Второй этап «времени Пушкина» был неблагоприятен для него. Золотой век кончился.

Сначала Писарев, затем большие писатели вели Россию по большому, но тревожному пути, взывая к совести, отзывчивости, горькому осознанию несовершенства как человека вообще, так и человека в русской истории. Социальная и даже политическая тематика не оставляла места античной мудрости и умеренности «золотой середины», она не открывала и пути. Заземленный, часто вульгарный материализм с его упрощенным представлением о пользе, об отдаче себя служению (о котором никто не просил) – так начиналось благородное и бесперспективное дело народничества. Шли «лечить и учить» – так, как это понимала нарождающаяся разночинная интеллигенция, но не так, как этого хотели низы. Этот, второй этап длился до 90-х годов XIX века. Он прославил русскую литературу в мире, сделав ее самой совестью и высокой по своим целям. Но путь, по которому шла Россия, – двоился. Путь героев этой литературы – и путь молчаливого законительства, размножения и себялюбия. Пушкин, став школьным, программным, стал захватанным автором четырех-пяти так называемых вольнолюбивых стихотворений и одного романа. Тихо и на обочине оставались его последователи – Тютчев прежде всего.

Но вот, пройдя через увлечение социализмом и натурализмом, поклонившись Чехову и менее крупным талантам, Россия пришла к трем, быстро следующим одна за другой, волнам символизма. Начался поиск глубинного смысла жизни. Сама идея того, что подлинное сокрыто и представлено только символами своими, идея айсберга, где 6/7 не видны, но 1/7 представляет знак этой невидимой и подлинной жизни – насытила и углубила все более сплюсцивающуюся жизнь литературы. Появился Мережковский с его «Вечными спутниками» и знаменитый исторической трилогией, появился Блок с идеей «несказанного» – как спасительного и неведомого. Здесь обозначился третий этап. Пушкина начали вспоминать чаще, но его ясность и прозрачность еще не были освоены снова.

* Розанов В.В. Вечно печальная дуэль, 1898 // Сб. Мысли о литературе. М., 1989, С. 220.



Подходил серебрянный век, тот, что сменил собою золотой век – в терминах и понятиях римской культуры. Устав от туманов и тайн, литература породила так называемый «преадамизм», в чем-то функционально схожий с «прерафаэлитством», с увлечением прозрачным и радостным миром Фра Беато ди Фьезоле, с художниками, до Рафаэля творившими. Манифест акмеизма Гумилева сказал о приходе бодрого, здорового, краткого и емкого слова; понятия получили четкие контуры; расплывчатость исключалась.

И, конечно, пришел Пушкин – как совершенная форма, как гармония ума и чувства, как мера. Так обозначился четвертый этап. Пушкин Серебрянного века, быть может, подходил к Пушкину Золотого века ближе, чем это было на втором и третьем временном отрезке.

Двадцатые годы XX века развели русскую литературу по двум векторам, и пятый этап раздался надвое. Пушкин внутри советской России стал «певцом декабризма». Все, что не лезло, – замалчивалось, не входило в продукт потребления. Вульгарно-социологический подход, ко второй половине XX века стал уступать место более правильному, более глубокому видению творчества первейшего поэта России.

Вне советской России Пушкин стал неким знаменем эмиграции, вокруг которого – справа и слева – кучковалась интеллигенция и вся литература. Примечательно, что внутри эмиграции тоже было и правое, и левое крыло.

Для Набокова и Ходасевича (опускаем тех, кто был вне пушкинской тематики, а также многочисленных второразрядных поэтов). Пушкин был тем, что Аполлон Григорьев назвал «наше все», в то время, как для Цветаевой он, прежде всего, бунтарь, мятежник, знаковая в социальном смысле фигура. Ее «Стихи к Пушкину», при всей неповторимости ее «Я», кажутся ближе к Маяковскому «Левому марша», чем к эмигрантской традиции.

Последний год XX века намечает неведомое пока, молчаливое присутствие Пушкина в XXI столетии, ведь несомненно то, что «у каждого времени свой Пушкин». Или, может быть, Пушкин найдет в этом времени то, что ему близко, родственно и расположился там.

Примечательно, что тема черного прадеда поэта входит в XX уходящий век с удивительной силой. Акцентировка на «дальней Африке» позволяет как бы вычленив Пушкина из ряда больших поэтов века, открыть те экзотические просторы, которые через ма-

люю примесь таинственной крови Авраама в Пушкине что-то объясняют в его даре. Здесь сходятся – и Цветаева, и Набоков, расходясь опять-таки в том, что значит ганнибальское присутствие в личности и творчестве Пушкина.

Цветаева в цикле «Стихи к Пушкину» полагает, что подлинным наследником Петра Великого был не его сын, а царский арап. Пушкин же – наследник дела Петра:

 Был негр ему истинным сыном
 Так истинным правнуком – ты
 Останешься. Заговор равных.

Поэтесса представляет Петра – в противовес Николаю I – отпускаящим поэта на волю, символом которой и является африканская прародина.

 Иди-ка, сынок, на побывку
 В свою африканскую дичь!
 Плыви – ни о чем не печалься!
 Чай, есть в паруса кому дуть!
 Соскучишься – так ворочайся,
 А нет – хошь и дверь позабуди!*

За неделю до того, как начать пушкинский цикл, М.И. Цветаева пишет Б.Л. Пастернаку (1931, июнь). Черновик отосланного (или нет) письма, начиная с описания портрета адресата. Лицо «у тебя на нем совершенно с Колониальной выставки. Ты думал о себе – эфиопе? арапе? О связи – через кровь – с Пушкиным – Ганнибалом – Петром. О преемственности. Об ответственности. Может быть после Пушкина – до тебя – и не было никого? Ведь Блок – Тютчев – и прочие опять Пушкин (та же речь!), ведь Некрасов – народ, т.е. та же Арина Родионовна (...).

Думаю, что от Пушкина прямая расходится вилкой, двузубцем, один конец – ты, другой – Маяковский (...).

Ведь Пушкина убили п.ч. он своей смертью не умер бы никогда, жил бы вечно, со мной бы в 1931 году по Мёдону гулял (Пушкина убили, п.ч. он был задуман бессмертным). (...) Пушкин – негр (черная кровь, падение Фаэтона – когда вскипели реки – и негрские волосы) – самое обратное самоубийце». **

* Цветаева М. Стихотворения, поэмы. Л., 1990, С. 414-415.

** М. Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997, С. 442-443.



В середине работы над циклом «Стихов к Пушкину» Марина Ивановна вспоминает и записывает о встрече с Е.А.Розенмайер, внучкой поэта, которая совершенно чужда памяти о деде, занята судьбою дочери, и стихи Цветаевой оставляют ее молчаливой и чуждой теме их беседы.

«Пушкин – играю, думаю, пишу – жив, в настоящем, сейчас падает на снег, сейчас просит морошки – и всегда падает – и всегда просит – и я его сверстница, я – тогда – она же – доказательство, что умер».

Далее Цветаева пытается обозначить два мира – творчества и живой, физической жизни. Очень сильной: «Зубная боль сильнее (грубее) душевной. Но умирают от душевной, от зубной – нет».*

Пушкин жив и рядом – для поэта; Пушкин – умер и вообще дедушка – для непэта. Особая вечность для первого. Естественная преходящность – для второго.

Известно, что творчество Набокова буквально пронизано Пушкиным, конечно же не стареющим, нужным, сегодняшним. В романе «Дар» (1937), вспоминая отца, Набоков на нескольких страницах романа устраивает композиционную матрешку. Годунов – Чердынцев – alter ego писателя, – поговорив о любви отца к Пушкину, вставляет якобы мемуары некоего Сухощекова, что позволяло снова, но в ином ракурсе писать о Пушкине.

И та же мысль, что у Цветаевой в ее рассуждении о подлинном и мнимом наследовании гению: «в Курской губернии живет, перевалив за сто лет, старик, которого помню (...) придурковатым и недобрым, – а Пушкина с нами нет».** Живет пустое, бессмысленное, не могущее понять, потому что существо это – из иного, недружеского мира.

Сухощекову же Набоков вручает рассказ о шутке, разыгранной братом мнимого мемуариста с приятелем Ч., долго скитавшимся по Америке и ставшим там, в Луизиане, плантатором.

Он возвращается в Россию лет через 30 после отъезда, в 1858 году. «Ч. был жаден до всяческих сведений, которыми мы и принялись обильно снабжать его. На вопрос, например, жив ли Пушкин и что пишет, я кощунственно отвечал, что «как же на днях тиснул новую поэму». На представлении «Отелло» братец указывает Ч. на

* М.Цветаева. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997, С. 446-448.

** Набоков В. Собр. соч. в 4 т. Т.3, М., 1990, С. 89-91.



человека в соседней ложе, которого он и выдает приезжему за Пушкина. Но маска прирастает, мистификация захватывает уже мистификаторов. Названный оказывается позванным: «Небольшого роста, в поношенном фраке, желтовато-смуглый, с растрепанными пепельными баками и проседью в жидких, взъерошенных волосах, он преоригинально наслаждался игрою африканца: толстые губы вздрагивали, ноздри были раздуты, при иных пассажах он даже подскакивал и стучал от удовольствия по барьеру, сверкая перстнями(...) легкомысленно вызванный дух не хотел исчезнуть: я не в силах был оторваться от соседней ложи, я смотрел на резкие морщины, на широкий нос, на большие уши... По спине пробегали мурашки, вся отелова ревность не могла меня отвлечь. Что если это и впрямь Пушкин, грезилось мне, Пушкин в 60 лет, Пушкин, пощажённый пулей рокового хлыща, Пушкин, вступивший в роскошную осень своего гения... Вот это он, эта желтая рука, сжимающая маленький дамский бинокль, написала «Анчар», «Графа Нулина», «Египетские ночи»... Действие кончилось; грянули рукоплескания. Седой Пушкин порывисто встал и, все еще улыбаясь, со светлым блеском в молодых глазах, быстро вышел из ложи».

Набоков усаживает избегнувшего гибели в ложу, где можно наблюдать безумную ревность – и Пушкину, и прадеду Ганнибалу хорошо известную. В портрете не только акцентированы арапские черты, но и сделано прямое описание старшего из этих двух бешеных ревнивцев.

Старик иногда «стучал от удовольствия по барьеру» – ведь гибель Дездемоны и Отелло была искуплена арестом и, понятно, наказанием, очевидно, смертью Яго. И Пушкин, избегнувший гибели на дуэли, радуется, что злодей наказан. Радуется и Ганнибал, через 23 года после обнаружения измены своей первой жены Евдокии, получившей развод, волею суда отправивший ее в дальний монастырь на поселение «белицею» до конца жизни.

Если Цветаева снова и снова чувствует Пушкина последних часов, то Набоков разыгрывает явление духа, представившего более разумный бездуэльный путь жизни поэта.

С Цветаевой – Пушкин гулял бы по Мёдону, во Франции, о которой мог он лишь мечтать. С Набоковым – стареющий писатель соседствует в ложе, получая удовольствие от справедливого возмездия – кому? – Яго или Дантесу?

Судьбы скрещиваются, XX век уходит в XIX, а XIX, пережив самого себя, вживляет вечное в современность – как Цветасвой, так и Набокова.


И.Ю. ЮРЬЕВА

*кандидат филологических наук,
руководитель Пушкинской программы,
Российский фонд культуры (Москва)*

Некоторые проблемы жизни и творчества Пушкина в оценке пушкинистов XX века

Из многочисленных проблем пушкиноведения две проблемы, по нашему мнению, наиболее ярко показывают особенности взглядов на творчество Пушкина ученых XX века: «Пушкин и самодержавие» и «Биографизм в творчестве Пушкина». Пушкинисты рассматривают их с крайних, полярных позиций: от полного отрицания биографизма в трудах классиков советского пушкиноведения до современных работ (например, книга и статьи Л.А. Краваль [1]), где каждый росчерк пера поэта объясняется каким-либо конкретным событием в жизни Пушкина. Столь же полярны в своих оценках исследователи темы «Пушкин и самодержавие». Очевидно, истина находится где-то посередине, и для достижения ее необходимо отходить от крайних точек зрения.

Каждая из названных проблем сама по себе многопланова и сложна, и сегодня мы остановимся лишь на одном аспекте: образении в творчестве Пушкина религиозного восприятия поэтом царской власти.

Религиозное отношение Пушкина к самодержавию воспринималось как само собой разумеющееся пушкинистами «русского зарубежья», наследовавшими традиции монархической России. Прекрасный пример – недавно изданная у нас книга Ариадны Тырковой-Вильямс «Жизнь Пушкина» [2], где даже «сглажено» отношение Пушкина к Александру I.

Что же касается пушкинистов по эту сторону границы, то большинство из них исследовали отношение Пушкина к самодержавию исключительно как проблему политическую. С религиозных позиций оценивается только критика Пушкиным цареубийства. Классической в этом плане можно считать очень важную концептуальную работу В.С. Непомнящего «Да ведают потомки пра-



вославных» [3]. Действительно, не только с правовых, но и с религиозно-нравственных позиций поэт осуждал царубийство: именно этим можно объяснить крайнее неприятие Пушкиным Александра I, вступившего на престол через кровь отца.

Вслед за признанием негативного отношения поэта к царям, занявшим трон преступным путем (Александр I, Борис Годунов) было бы логичным признать позитивное отношение Пушкина к монархам, которые не запятнали себя грехом царубийства. Таким монархом, безусловно, был Николай I. Но в оценке его образа в произведениях Пушкина большинство ученых до сих пор остаются в плену «советских» взглядов. Исключения представляют работы 1990-х годов, например, статья В.Г. Морова «Апокалиптическая песнь Пушкина» [4] и книга Л.М. Аринштейна «Пушкин: «Видел я трёх Царей»» [5], куда вошла и работа «Николаевский цикл Пушкина», неоднократно публиковавшаяся с 1994 года [6].

Важность этих немногочисленных работ возрастает тем более, чем менее в сознании сегодняшнего поколения сохраняется понимание роли и места императорской власти в России прошлого века. Здесь больше всего отступлений от историзма в пользу современных взглядов. Мало кто представляет себе сегодня, чем была монархия для человека пушкинского времени и какое место отводила Царю Русская Православная Церковь. Между тем, для Пушкина, как для любого православного человека (признающего, что нет власти, кроме как от Бога), законный Государь – это помазанник Божий.

Такое отношение Пушкина к Николаю I ясно выражено в обращенных к Императору стихотворениях.

«Стансы» («В надежде славы и добра») и ответ «Друзьям» в работах Г.А.Лесскиса [7] и В.С.Непомнящего трактуются с точки зрения концепции договора Пушкина с Царем: поэт как бы обещает свою лояльность Императору в обмен на реформы, продолжающие дело Петра Великого. Такая трактовка в духе политического торга далеко не исчерпывает смысл произведений, где образ Царя восходит к Священному писанию, а именно к псалмам Давида (которыми Пушкин, по собственному признанию, восхищался – XIV, 188):

...Он мне царственную руку
Простер – и с вами снова я. (III, 89)

Эти строки из стихотворения «Друзьям» навеяны стихом 143 псалма Давида: «Прости с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня...» (Пс. 143:7).

Тем же, кто подобно «друзьям» – адресатам стихотворения – подозревает Пушкина в лести Царю, напомним первоначальный черновой вариант, еще более близкий к библейскому источнику:

[Люблю Царя] он с высоты
Простер мне царственную руку... (III, 643).

Именно этот стих 143 псалма через несколько лет Пушкин адресует святителю Филарету («И ныне с высоты духовной Мне руки простирасшь ты» – III, 212).

В стихотворении «Друзьям» дважды встречается слово *хвала*: так сам Пушкин характеризует свои «Стансы» Николаю. Поэт следует здесь библейской традиции: следующий 144 псалом называется «Хвала Давида» (Творец там именуется «Господь мой, Царь мой» – Пс. 144: 1). Слагая «свободную хвалу» Царю, Пушкин сближает себя с пророком-псалмопевцем.

Началом своего пророческого служения Пушкин считал день первой встречи с Императором Николаем 8 сентября 1826 г. – об этом, по мнению Л.М. Аринштейна, свидетельствует дата в стихотворении «Пророк» [5, С. 113-119]. С этой датой не все ясно.

Б.В. Томашевский, готовивший последнее по времени выхода в свет академическое издание («малое» в 10 томах), датировал «Пророк» 8 сентября 1826 года. Во всех случаях, когда в примечаниях Б.В.Томашевского к этому изданию сказано: *написано в такой-то день*, это означает, что в автографе имеется соответствующая дата (которая, как показали дальнейшие исследования, не обязательно является датой создания произведения). Таким образом, указание Б.В. Томашевского в примечании к «Пророку»: «Написано 8 сентября 1826» [8], – надо понимать в том смысле, что в руках исследователя мог находиться источник текста, который сам Пушкин датировал днем исторической встречи с Николаем I в Чудовом дворце. Каков этот источник – мы не знаем. Остается полагаться на авторитет Б.В. Томашевского-текстолога. Однако многие исследователи никак не учитывают дату «Пророка» 8 сентября в своих работах и даже высказывают сомнение, не сочинил ли ее Томашевский... Трудно представить выдающегося ученого (к тому же готовившего



издание при жизни Сталина), который фантазирует, что «Пророк» создан в день встречи Пушкина с Императором, да еще пытается поместить эту дату в основном тексте, прямо под стихотворением, подобно дате в стихотворении «Герой» («29 августа 1830», день приезда Николая I в холерную Москву). Если бы датой «Пророка» оказался, например, день казни декабристов или день получения соответствующего известия, можно было бы заподозрить советских ученых в фальсификации. Но фальсифицировать в сторону сближения стихотворения с Николаем I в конце 1940-х годов никто бы не посмел. И менее всего этого можно было бы ожидать от Б.В. Томашевского, который отнюдь не был ни сторонником монархии, ни поклонником Императора Николая.

Между тем, приняв датировку Б.В.Томашевского и вслед за Л.М. Аринштейном включив «Пророк» в «Николаевский цикл» Пушкина, можно значительно углубить наши представления о целом ряде последующих стихотворений – от «Стансов» Николаю до «Элегий» 1830 г. («Безумных лет угасшее веселье»), которая датирована тем же днем 8 сентября – четвертой годовщиной встречи с Императором.

«Стансы» и «Друзьям» также тесно связаны с пониманием Пушкиным своего пророческого служения: библейские пророки были поставлены Господом над народами и царствами (Иер. 1:9), призваны *передать Царям Божье велье*, доносить до них слова высшей правды. Принимая сторону исследователей, отрицающих принадлежность «Пророка» «Николаевскому циклу» стихотворений Пушкина, трудно истолковать библейскую окраску образа Царя в этих произведениях, а также в стихотворении «Герой» (ему посвящена упомянутая выше работа В.Г. Морова [4]).

Действительно, почему Пушкин, рисуя Николая, прибегает к высочайшим библейским образам, использует те стихи Псалтири, которыми Царь Давид прославляет Господа? Этому может быть лишь одно разумное объяснение: Пушкин воспринимал Царя-Богопомазанника как *священную* личность. Такое восприятие было свойственно пушкинской эпохе в целом, но, к сожалению, оно почти недоступно современным исследователям, которые чаще всего подменяют религиозно-философские понятия правовыми. Показательна в этом отношении критика работы Л.М. Аринштейна

«Николаевский цикл». Как правило, критики спорили не с автором работы, а с самим Пушкиным.

Покойный Е. Г. Эткинд сомневался, мог ли Пушкин сравнивать Николая I с величайшим пророком-законодателем и Боговидцем Моисеем (в стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один...»): «Вы в самом деле уверены, что Пушкин мог сказать царю Николаю: «Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей...»? Пророк? Назвать этого солдафона – Пророком?». И далее: «Смутились мы, твоих чуждаяся лучей». Да если бы Пушкин такое сказал про Николая, он был бы Лебедевым-Кумачом или Сурковым». * Это яркий пример смещения времен. Российский Царь-Богопомазанник столь же далек от Сталина, как Пушкин далек от Лебедева-Кумача.** В пушкинское время, как отмечала А. Тыркова-Вильямс, «личность Царя стояла на Руси не только на верху пирамиды, но и в центре жизни... Царь был живым воплощением государства, отчизны, средоточием национального бытия» [2, с. 105].

В последнем разговоре с автором статьи Е. Г. Эткинд, прочитавший книгу «Пушкин: Видел я трех Царей», сказал, что книга его убедила и он пересмотрел свое первоначальное мнение. Но написать об этом Ефим Григорьевич, к сожалению, не успел.

Другой критик (М. Искрин) пишет: «Назвать любовью отношение Пушкина к царю-палачу <Николаю> просто кощунство» [9]. Но ведь «кощунственно» говорит об этом сам Пушкин:

Его я просто полюбил... (III, 89)

(«Друзьям», 1828)

И о том же – через много лет, в одном из последних писем: «...Лично я сердечно привязан к Государю...» (XVI, 393 – *письмо П. Я. Чаадаеву, 1836*).

* Цит. по кн.: Ариштейн Л. М. Пушкин: Непричесанная биография. Изд. 2-1, дополн. М.: ИД «Муравей», 1999. С. 227.

** Если обратиться к библейскому источнику стихотворения (Кн. Исход), станет понятным, о каких лучах говорит Пушкин: о лучах славы Божией, которые осеняли главу пророка-законодателя и которых действительно «чуждался» народ: «Когда сходил Моисей с горы Синая... то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним. И увидели Моисей Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему» (Исх. 34: 29-30).



Если не приписывать поэту XIX века наших сегодняшних взглядов, в «сердечной привязанности к Государю» нельзя усмотреть ничего постыдного для Пушкина или «кощунственного» по отношению к памяти декабристов. Тогда, по словам А. Тырковой-Вильямс, любовь и преданность Царю были неотделимы от патриотизма.

В самое последнее время в общественном сознании наметились определенные изменения в отношении к самодержавию. Можно надеяться, что эти изменения приведут к более объективному рассмотрению интересующей нас темы. Пока мы читаем об этом в основном не в научных, а в публицистических статьях. Вот что пишет, например, Н. Болдырев в статье, опубликованной саратовским журналом «Волга»: «Нельзя забывать, что Царь оставался для Пушкина сакральной личностью, ибо Пушкин не был тем различником-нигилистом, «бичом жандармов, богом студентов», каким его представляли себе Цветаева, Ахматова и вообще весь... XX век» [10].

Очень верное наблюдение. Только отрешившись от современных представлений, пушкинисты могут приблизиться к пониманию взглядов пушкинской эпохи, взглядов, наиболее ярко выраженных Н.В. Гоголем, который в связи с лирикой Пушкина писал о том, что «Государь есть образ Божий» и что «поэты наши прозревали значение высшее монарха» [11].

Сегодняшним исследователям-пушкинистам предстоит вернуться к такому пониманию, вне зависимости от их личного мнения о том или ином Императоре. Признание Царя помазанником Божиим и главой Православной Церкви – на наш взгляд, необходимая предпосылка дальнейшей научной разработки темы «Пушкин и самодержавие».

Только в этом случае снимаются «вечные вопросы» пушкиноведения и всё становится на свои места – отношение Пушкина к декабристам и к царской цензуре, многолетнее неприятие Александра I и восторженные стихи Николаю через несколько месяцев после казни и ссылки «друзей, товарищей, братьев», наконец, патриотизм Пушкина, который, по верному наблюдению А. Тырковой-Вильямс, «был основным, необходимым атрибутом всякого образованного русского» и в который естественно «включалась любовь и личная преданность Государю» [2, С. 105].



ЛИТЕРАТУРА

1. Краваль Л.А. Рисунки Пушкина как графический дневник. – Серия «Пушкин в XX веке». Вып. IV. М., Наследие, 1997.
2. Тыркова-Вильямс А.В. Жизнь Пушкина. Т. 1. М., 1998.
3. Непомнящий В.С. «Да ведают потомки православных...» // Русское возрождение. 1999 (1), № 74.
4. Мороз В.Г. «Апокалипсическая песнь» Пушкина: Опыт истолкования стихотворения «Герой». // Духовный труженик: А.С. Пушкин в контексте русской культуры. СПб., Наука, 1999.
5. Аринштейн Л.М. Пушкин: «Видал я трех Царей...». – М., Изд. дом «Муравей», 1999.
6. Пушкинская эпоха и христианская культура. Вып. 5. СПб., 1994; Вестник РАН. Т. 67, № 4 (апрель 1997); Русское возрождение. № 71, 1998 (1).
7. Лесский Г.А. Пушкинский путь в русской литературе. – М., 1993.
8. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 10 тт. Т. 2. Л., Наука, 1977.
9. Искрин М.И. Новый Пушкин – бесноватый монархист, окруженный коварными друзьями // Независимая газета. Ex libris. № 30 (51). 5 августа 1998. С. 5.
10. Болдырев Н. Заснеженная Африка. // Волга, № 6, 1999.
11. Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями: О лиризме наших поэтов. – Цит. по кн.: Гоголь Н.В. Духовная проза. – М., 1992.





М.М. СИДОРОВА

*кандидат филологических наук, старший преподаватель
кафедры русской и зарубежной литературы,
Казанский государственный университет*

А.С. Пушкин в оценке профессоров казанского университета XIX века

Отношением к Пушкину определяются отдельные люди, целые поколения, уровень духовного развития общества и, как производная, состояние науки, в данном случае – литературоведческой. Единство личностного и профессионального литературоведческого восприятия Пушкина обнаруживается в оценке и интерпретации его творчества филологами – теми, кто занимает студенческие скамьи филологических факультетов университетов и их научными наставниками – академической профессурой.

Поэтому небезынтесной кажется нам проблема изучения и преподавания Пушкина в университетах России в XIX веке, в частности, старейшем из них – Казанском университете.

Анализ деятельности преподавателей кафедры красноречия, стихотворства и языка российского с момента ее основания в 1804 году показал, что изучение и преподавание русской словесности в первой половине XIX века не столько отражало развитие общего литературного процесса в России, сколько реагировало на все перемены внутри российского общества, было теснейшим образом связано с образовательной политикой российского государства и несло на себе отпечатки всех процессов, происходящих внутри университета.

Любопытно, что до 50-х годов. XIX века творчество Пушкина не входило в программу преподавания литературы на филологических факультетах. Студенты знакомились с Пушкиным самостоятельно. Уже в 1828 году Н.И.Лобачевский – в то время библиотекарь Казанского университета – приобрел для университетской библиотеки все изданные к тому времени произведения поэта [1].

Отставание форм и методик в изучении и преподавании литературы от развития самой литературы в большой степени было связано с тем, что в своей организации и внутреннем режиме россий-



ские университеты были теснейшим образом связаны с государственной политикой и деятельностью Главного Правления училищ, которые отозвались в Казанском университете ревизией и попечительством Магницкого, на долгие годы задержавшем прогрессивное развитие университета. В огромной степени от этого зависела и кадровая политика университетской администрации, когда основным критерием в подборе профессорско-преподавательского состава стало «прилежание в богочестии».

Первый профессор русской словесности Г.Н.Городчанинов, мало соответствующий статусу университетского преподавателя и с точки зрения фундаментальной филологической подготовки, и по явному отставанию в осмыслении литературного процесса, в силу своего официального положения и достаточно длительного времени работы в Казанском университете (1806-1808, 1810-1819) на много лет затормозил прогрессивные тенденции в преподавании литературы. Он до конца жизни остался верен своим симпатиям к писателям древности в области литературы и А.С.Шишкову в области языка, из года в год все более отставая от развития русского слова.

Преемник Городчанинова – М.В.Скворцов утверждал с кафедры в 20-е годы XIX века, что «некоторые из новейших сочинителей, отличаясь чистотою и сладкозвучием языка, не могут сравниться с образцовыми писателями Ломоносовым, Державиным, Богдановичем и Хемницером ни в выборе предметов, ни в изяществе вкуса...» [2].

М.С. Рыбушкин – издатель первого в Поволжье журнала «Заволжский муравей», увлеченный и талантливый по-своему человек, не шел дальше того, чтобы предложить студентам «теоретическую часть риторики по руководству Биера, Роллена, Батте, Доммерона, присовокупляя примеры из лучших российских авторов» [3].

Даже в 30-40-е годы XIX века, когда в литературе совершился резкий поворот к реализму, Г.С.Суровцев, профессор по кафедре истории российской литературы в 1820–40-е годы, по-прежнему ограничивался поэтами-классицистами. Высоко ценя Пушкина за богатство и чистоту литературного языка, он считал, что время для изучения его поэзии еще не наступило.

Профессор К.К.Фойгт в конце 40-х – начале 50-х годов XIX века был увлечен более историей всеобщей литературы и практически не перерабатывал лекций по русской литературе, написанных некогда в сухой и традиционной для Казанского университета манере.



Таким образом, пятьдесят лет господствовала в Казанском университете вера в способность образования филологов «Риторикой» и «Пиитикой», преподававшихся самым схоластическим образом.

Подобная картина сложилась и в других университетах России – Дерптском, Харьковском, Петербургском, Московском. Там в первой половине XIX века литература изучалась в оторванности от исторической почвы, ее породившей. Литературные произведения рассматривались не в исторической перспективе, а с точки зрения незыблемых эстетических канонов. Университетские лекции по русской литературе обыкновенно состояли в чтении отрывков из образцовых писателей, причем под произведениями «литературы», «словесности» подразумевались произведения поэзии, красноречия, истории. Сами отрывки совершенно терялись среди подобных же отрывков из писателей «классических», то есть греческих и латинских. Литература русская не выделялась из ряда других, «история литературы» заменялась «теорией словесности».

Лишь 50-е годы XIX века стали временем решительного перелома в развитии историко-литературных исследований. Колоссальным изменениям подверглись содержание, объем, методы и приемы научных исследований. Обновился и сам предмет исследования – наибольший интерес у литературоведов стали вызывать литературные явления первой половины XIX века. Это значительное оживление в умственном развитии российских университетов, вызванное определенной степенью свободы преподавания, ростом политического и нравственного самосознания студенчества, интересом к науке, обусловило приход на кафедры энергичных, талантливых профессоров и адъюнктов.

В Казанском университете таким профессором стал Николай Никитич Булич (1824-1895). На протяжении тридцати лет он был единственным и бессменным преподавателем русской литературы в Казанском университете. Булич первым в истории кафедры отечественной словесности Казанского университета заявил о себе как интересный ученый, литературовед, автор серьезных исследований о Ломоносове, Карамзине, Жуковском, Пушкине, Достоевском и других русских писателях.

Публиковался Н.Н.Булич мало, главной задачей своей считая работу над созданием лекционных курсов. «У меня составлен очень большой курс истории русской литературы с начала ее до Гоголя. Я несколько лет его переделывал и дополнял», – напишет он в авто-



биографии [4]. Ознакомиться с этим курсом, к сожалению, невозможно. Он остался в рукописном варианте и, предположительно, сохранился вместе со всем архивом во время пожара в имени Булича – Юрткулях. Однако после смерти профессора все же были опубликованы два солидных тома «Очерков по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века» [5], рассматривающих лишь первые двадцать лет русской литературы XIX века, которые и представляют собой фрагмент курса лекций Булича.

Об этих лекциях Булича по истории русской словесности сохранили восторженные воспоминания несколько поколений казанских студентов. На них собирались в переполненные университетские аудитории учащиеся Казанской духовной академии, офицеры, горожане. Нередко они заканчивались аплодисментами. Именно в оценке и интерпретации Булича студенты Казанского университета изучали творчество Пушкина в 50-80-е годы XIX века. Булич занимался изучением Пушкина всю свою жизнь. И не только по долгу профессора словесности. Творчество ни одного из русских писателей не вызывало в нем столь глубокого душевного отклика. «Стихи Пушкина повторялись нами в часы страстных молодых волнений, в дни тяжелого раздумья, в спокойном обладании счастьем», – скажет он [6].

Нам известны две опубликованные работы Булича о Пушкине. По форме – две речи, написанные с интервалом в тридцать лет – на заре и закате его преподавательской деятельности. В их основе лежит положение культурно-исторической школы русского академического литературоведения, к которой по своим научным убеждениям примыкал Булич, предполагающее анализ литературных явлений в диалектическом соотношении «личность–среда–эпоха».

В первой из них – «Значение Пушкина в истории русской литературы: Введение в изучение его сочинений» (Казань, 1855), Булич хронологически, шаг за шагом проследил развитие русской поэзии от Кантемира до высшей и совершенной ее ступени – поэзии Пушкина и показал, как богатела, трансформировалась, словом, качественно изменялась русская поэзия с каждым новым именем и, более того, как соотносится она с поэзией Пушкина. Пушкин, по мнению Булича, – завершитель всех прежних стремлений, всех начатых и недоделанных форм в литературе. С него русская литература и русская поэзия начинает новый период своей исторической жизни. Таким образом была сделана попытка систематиза-



ции литературного материала, который с такой мощной силой выплеснулся в России с начала XIX века. В строгом соответствии с жанром по своим задачам и структуре речь Булича вполне отвечала необходимым требованиям, хотя и вызвала острую полемику между Н.Г.Чернышевским и А.Д.Галаховым [7,8].

Иное впечатление производит написанная более, чем через тридцать лет вторая речь Булича о Пушкине – «В память пятидесятилетия смерти Пушкина» (Казань, 1887) [6]. Речь эта предназначалась для публичного чтения, но прочитана не была. Как пишет Булич в письме от 1 февраля 1887 года А.Н.Пышину: «Думали и мы было, почтить память Пушкина в Казани и ничем не почтили. Было много приготовлено, даже Ваш покорный слуга намеревался читать в зале Дворянского собрания, но вышло запрещение, понятое слишком буквально» [9].

Эта речь Булича, представляющая по форме биографический очерк Пушкина, – результат научной и жизненной зрелости ученого. Это не просто выражение чувства утраты, постигшей русское общество пятьдесят лет назад, а оригинальная попытка осознать «скорбный путь, каким шла его [Пушкина – М.С.] поэзия в немногие годы мучительно прожитой жизни» [6].

Пожалуй, нет у Булича другой работы, где бы так сильно ощущалось его прочувствованное и очень бережное отношение к писателю, такая высокая степень трагизма, с которым ассоциировалось у Булича творчество Пушкина. «Художественность созданий Пушкина подкунает, – пишет он, – но за нею обыкновенно не видят его отношения к времени, не замечают, как дорого стоила Пушкину его вымученная, выстраданная художественность» [6].

Наиболее важной в этой работе Н.Н.Булича является мысль о том, что Пушкин как человек и художник развивался и зрел наперекор всему окружающему: наперекор семье, школе, обществу, требованиям жизни. Это, по мнению Булича, и помогло поэту сохранить глубокую чистоту и цельность натуры. Будучи прекрасно осведомленным во всех мельчайших деталях биографии и творчества Пушкина, опираясь и даже ссылаясь на труды В.П.Гаевского, Я.К. Грота, Н.М.Языкова, П.В.Анненкова, П.И.Бартенева, Булич показывает свое собственное отношение и понимание многих явлений и событий в судьбе поэта и доказывает главную мысль: чем сложнее, трагичнее складывались обстоятельства жизни поэта, тем



просветленное была его поэзия. Вот почему, по мнению ученого, так дорого стоят поэтические строфы и образы, дающие такое высокое наслаждение.

Таким образом, процесс изучения и преподавания русской литературы в Казанском университете XIX века и творчества Пушкина, в частности, имел два этапа. Первый оказался неплодотворным для развития литературоведения. Второй, связанный с именем Н.Н.Булича поднял Казанский университет на высокий уровень изучения и преподавания русской литературы и открыл новые грани в исследовании жизни и творчества А.С.Пушкина.

ЛИТЕРАТУРА

1. Новые материалы к биографии Н.И.Лобачевского / Сост. и автор прим. Б.В.Федоренко. – Л., 1988. С.129-130.
2. Загоскин Н.П. История Императорского Казанского университета за первые сто лет его существования. (1804-1904).: В 4 т. – Казань, 1908. Т.2. С.517.
3. Обзорение преподаваний Императорского Казанского университета на 1828-1829 уч.г. – Казань, 1828. С.5.
4. Булич Н.Н. [Автобиография] // Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. – СПб., 1897-1904. Т.6. С.127.
5. Булич. Н.Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века.: В 2 т. – Пб.: Тип. Стасюлевича, 1902-1905. Т.1. 381 с.; Т.2. 333 с.
6. Булич Н.Н. В память пятидесятилетия смерти Пушкина. – Казань, 1887. С.5.
7. Б.п. [Чернышевский В.Г.] // Современник. 1856. Т.57. № 5. Библиография. С.21.
8. Б.п. [Галахов А.Д.] // Отечественные записки. 1856. Т.107. № 8. Отд. VII. С.83.
9. Письмо Булича Н.Н. Пышину А.Н. // РНБ. Фонд 621. Арх. Пыпина А.Н., ед. хр. 112.





Л.Я. ВОРОНОВА

*доцент, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы,
Казанский государственный университет*

Из истории Пушкинского общества в Казани

Тема «У каждого времени свой Пушкин» многоаспектна. Она включает вопрос об особенностях восприятия и интерпретации жизни и творчества великого поэта в XIX – XX веках, анализ научной и просветительской деятельности ученых-пушкинистов, изучение влияния творчества поэта на развитие национальных литератур и т.д. Одним из аспектов данной темы является характеристика Пушкинских литературных обществ, кружков, студий, которые функционировали в разных городах России.

До революции в Казани было три литературных общества, имевших свои Уставы: Общество любителей отечественной словесности [2], которое существовало в первой половине XIX века, и два общества в память Пушкина – Казанское Пушкинское общество литературы и искусства и Общество любителей русской словесности в память А.С.Пушкина при Императорском Казанском университете. Деятельность их не была еще предметом специального изучения, более того, долгое время считалось, что было только одно Пушкинское общество – Общество любителей русской словесности... Наша цель – рассмотреть историю Пушкинских обществ, отмечая такие моменты, как мотивы организации, состав учредителей, цели и задачи по Уставу, формы работы, отношение к Пушкину и значение.

Возникновение первого Пушкинского общества приходится на 1887 год. Россия отмечала скорбную дату – 50-летие со дня смерти А.С.Пушкина. Значение ее казанский ученый А.С.Архангельский видел в том, что «с этого дня произведения великого поэта сделаются вполне общественным достоянием, общественной собственностью, перейдя из рук его наследников в руки всего общества» [3, С.1]. Словно осознав свою высокую миссию посредников между литературой и читателем, казанские ученые-филологи и критики начали активную разработку пушкинской темы. В университете к исследованию жизни и творчества Пушкина обращаются



Н.Н.Булич. («В память пятидесятилетия Пушкина (29 января 1887 год»)), А.С.Архангельский («А.С.Пушкин в его произведениях и письмах. По поводу пятидесятилетия его смерти (1837-1887)», Е.Ф.Будде («О литературных мнениях Пушкина»); в местных газетах за короткий промежуток времени был сделан ряд публикаций [9, С.5]

На волне общественного интереса к наследию Пушкина через месяц после официальных мероприятий, прошедших в Казани, 1 марта 1887 года состоялось общее собрание учредителей «предположенного к основанию Казанского Пушкинского общества литературы и искусства» [8, С.175]. Чтобы заявить о себе в городе, 26 марта учредители проводят литературно-музыкальный вечер в память А.С.Пушкина в зале Русского соединенного собрания. На вечере мировой судья А.Н.Кремлев провел публичную лекцию «Драматический гений А.С.Пушкина».

Как отнеслись университетские круги к этому факту? Ответ на вопрос дает список учредителей. Там 28 человек, большая часть – это преподаватели, представляющие практически все факультеты университета. Причем каждый оставил яркий след в истории науки, в истории университета: А.В. Васильев – профессор математики, известный философ, новатор в области преподавания математики и философии в средней школе и университете; Д.С. Ермолаев – доктор медицины, профессор, действительный статский советник; Н.П. Загоскин – доктор государственного права, статский советник, историк Казанского университета; Ф.М. Суворов – профессор, доктор зоологии; Н.А. Фирсов – профессор русской истории, успешно изучавший историю народов Поволжья, и др.

Вторая группа в составе учредителей – государственные служащие, чиновники и т.п., которые в свободное время занимались литературной деятельностью, журналистикой. О некоторых из них сохранил воспоминания в очерках «Казань и казанцы». Н.Я.Агафонов, один из учредителей Общества [1].

Так, например, он подчеркнул необычайную популярность в городе С.В.Дьяченко. Он в 1887 году как раз был избран гласным городской думы, а в 1888 году – городским головой. С.В.Дьяченко увлекался драматургией, его комедии «Сила солону ломит» и «Грехи юности» даже ставились на сцене казанского театра [1,ч.II, С.74-75].



Известны были в городе литературные пристрастия мирового судьи А.Н.Кремлева. Он слыл драматургом, журналистом, театральным критиком, даже пробовал себя на актерском и режиссерском поприще. Однако «литературное творчество [его], так же как и театральная деятельность, отмечено любительством и дилетантизмом» [12, т.3, С.144].

Действительный статский советник, мировой судья С.В.Макасеин тоже был любителем литературы, писал статьи по драматическому искусству, опубликовал свои мемуары [1, ч.1, С.28].

Самым талантливым из них, пожалуй, был Н.Ф.Юшков, заведующий следственной частью. Истинный ценитель и знаток театрального дела, авторитетный журналист, хорошо известный в столичных изданиях («Театр и искусство», «Артист», «Музыкальный свет») и в Казани («Казанский телеграф»), Юшков часто выступал с лекциями перед самой разной аудиторией [16, С.45-46]. Да и Н.Я.Агафонов совмещал работу в бухгалтерии Управления Казанского учебного округа с деятельностью историка-краеведа, издателя, библиографа, журналиста, прозаика [12, т.1, С.23].

Среди учредителей были и профессиональные музыканты, критики, но не было преподавателей литературы из Казанского университета и Казанской духовной академии. Видимо, они не поддерживали идею создания общества, во главе которого встал профессор римского права, действительный статский советник Н.А.Кремлев, назначенный ректором университета после отстранения от должности профессора русской словесности Н.Н.Булича. И можно предположить, что знатоков и ценителей литературы и творчества А.С.Пушкина не устраивали принципы работы и организационная структура Пушкинского общества литературы и искусства, закрепленные в Уставе.

Устав был утвержден в феврале 1888 года в Министерстве внутренних дел, в ведении которого Пушкинское общество состояло. Подписан Устав товарищем министра сенатором Плеве. Цель Казанского Пушкинского общества заключалась «во всестороннем содействии развитию и процветанию русской литературы и искусства и распространении серьезного и правильного воззрения на них» [15, С.1]. В Уставе закреплялось право издания своего журнала, своих трудов, произведений литературы, право открывать учебные и драматические классы, художественные школы, устраи-



вать публичные лекции, литературные чтения, спектакли, вечера и пр. Однако все остальные положения подчеркивали официальный статус Пушкинского общества.

Вся его деятельность подчинялась «общим законам и распоряжениям правительства» [15, С.1], изменения и дополнения в Уставе утверждались в Министерстве внутренних дел. Стать членом Пушкинского общества можно было только по рекомендации двух действительных или почетных членов и при условии выплаты ежегодных денежных взносов. При этом в число членов общества с правом голоса на общих собраниях не допускались лица женского пола, несовершеннолетние («за исключением имеющих классные чины»), воспитанники учебных заведений, нижние воинские чины. Только торжественные собрания объявлялись публичными, все остальные – закрытыми. Не оговариваются в Уставе обязанности действительных и почетных членов, кроме как своевременно платить взносы и приходиться на собрания, конкретные задачи и направление деятельности Пушкинского общества. Зато очень много внимания уделено регламентации работы общих собраний и Совета. А главное, не были определены отношение к Пушкину, его творчеству, характер и формы работы. Сообщив, что Казанское Пушкинское общество литературы и искусства создано «в память первого русского народного поэта» [15, С.1], авторы Устава о нем, похоже, забыли.

Какова была реальная деятельность Пушкинского общества?

Сначала собрания проходили более или менее регулярно. В фондах отдела рукописей и редких книг научной библиотеки Казанского государственного университета сохранились повестки собраний, приглашения, адресованные В.И.Шидловскому, известному в городе пианисту, одному из учредителей Общества [ед.хр.136, 1888]. Например, приглашение от 12 апреля 1888 года извещает об очередном заседании общего собрания, посвященного обсуждению вопросов о чествовании памяти Гаршина и Усова, юбилея Майкова и годовщины рождения Пушкина. На торжественном собрании 8 мая 1888 года предполагалось заслушивание докладов «Личность М.Гаршина в его произведениях» (В.Л.Поляк) и «О жизни и деятельности П.С.Усова» (Л.В.Рындзюмский). Между докладами чтение рассказа М.Гаршина «Четыре дня» артистом Лирским.



Вот к таким единичным акциям и свелась деятельность Пушкинского общества литературы и искусства. Даже на общие собрания члены Общества не всегда собирались в нужном количестве для принятия решений. Некоторые из учредителей – действительных членов были одновременно членами других обществ и активно работали там. В.И.Шидловский, например, член Казанского кружка любителей музыки, Н.Я.Агафонов, Н.П.Загоскин, Н.Ф.Юшков были членами-учредителями «Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете» и т.д. О работе Пушкинского общества практически не писали в местной прессе, да и многие казанцы даже не подозревали о его существовании.

Совершенно иной была судьба Общества любителей русской словесности в память А.С.Пушкина при Казанском университете. Оно оставило яркий след в истории научно-литературной и культурной жизни Казани.

Формальным поводом для его организации был юбилей поэта, который отмечался в 1899 году: «<...> посвящается памяти А.С.Пушкина и носит название его имени в память столетия со дня рождения» [14, С.1]. На самом деле появление Общества было итогом большой работы, проведенной казанскими учеными, журналистами, преподавателями гимназий [5, С.19-22; С.35-38; С.75-79]. Они своими выступлениями вызывали перед читателями и слушателями образ поэта, напоминали о его произведениях, раскрывали новые грани творчества Пушкина и его личности. Пушкинская юбилейная литература в Казани включает работы разных жанров, среди которых современники отметили речи и статьи Е.Будде, А.Архангельского, Н.Владимирского, Н.Загоскина, П.Черняева, А.Рождествина [13].

О признании заслуг казанцев в изучении творчества Пушкина свидетельствует и тот факт, что Общество любителей русской словесности было одним из пяти обществ имени Пушкина, учрежденных в России в 1899 году. Три из них были в Санкт-Петербурге (Пушкинское лицейское общество, Пушкинское драматическое общество, Пушкинская беседа) и одно в Москве – «Пушкинская комиссия» при Обществе любителей российской словесности при Московском университете.

Общество любителей русской словесности в память А.С.Пушкина как бы возрождало лучшие традиции первого лите-



ратурного общества Казани – Общества любителей отечественной словесности, с одной стороны, и было попыткой возобновить деятельность Пушкинского общества литературы и искусства – с другой. Как отметил профессор Е.Ф.Будде: «Возрождение этого общества в новой форме и на иных началах, более соответствующих университетским задачам, было бы не только особенно желательным и своевременным, но и явилось бы достойным памяти великого поэта доказательством того, что у нас, в провинциальном университете, не забыты заветы и предсказания великого Пушкина, рассеянные в чудных поэтических созданиях его музы» [10, С.153].

4 ноября 1899 года Общество любителей русской словесности в память Пушкина было открыто в Учредительном собрании, был принят Устав, составленный Е.Ф.Будде и утвержденный в Министерстве просвещения (9 октября 1899 года). Будде стал председателем общества, а членами-учредителями являлись опять же профессора университета с разных факультетов (Д.А.Корсаков – историк, П.И.Кротов – географ и этнограф, Ф.Г.Мищенко – филолог, историк). Все три члена Совета – Д.И.Нагуевский, Ф.Г.Мищенко, А.С.Архангельский и председатель – филологи. Это отразилось на Уставе и реальной деятельности Общества.

По сравнению с Уставом Пушкинского общества литературы и искусства, отдельные положения и формулировки которого заимствовал Будде, новый Устав наполнен иным содержанием. Во-первых, конкретизированы формы и характер деятельности Общества. Цель его – «всестороннее исследование и разработка вопросов по истории языка, литературы и народной словесности русского народа и других славянских народов», «распространение среди русского общества сведений по вышеозначенным вопросам и содействие развитию интереса к занятиям общества» [14, С.1]. Во-вторых, снят ряд ограничений для желающих вступить в Общество. Оно стало более открытым, все годовые, очередные и торжественные заседания объявлялись публичными. Годовые собрания созывались 29 января (по старому стилю) в день кончины А.С.Пушкина. В-третьих, обязательным условием (§15) стало занятие членов Общества литературной, краеведческой, научно-педагогической, просветительской деятельностью, то есть ориентация была не на «свадебных генералов», а на лиц, способных вести работу по предметам занятий Общества. Освобождались от этого



только члены-соревнователи. Наконец, были регламентированы отношения Общества с университетом: последний предоставлял Обществу возможность бесплатного печатания трудов в университетской типографии, свои помещения.

Первое публичное заседание состоялось 12 декабря 1899 года. Е.Ф.Будде выступил с речью «Современные направления русской науки и литературы в связи с задачами нового общества». Доклады Д.В.Айналова («Княгиня Ольга в Царьграде») и Д.А.Корсакова («Брюллов и Пушкин») сразу заявили высокую планку требований к содержанию собственных разысканий членов Общества. Требования еще более возросли после смены председателя.

17 января 1900 года председателем был избран профессор кафедры русской словесности А.С.Архангельский. Опираясь на Устав, он разработал свою программу деятельности. Она была обнародована на заседании Совета Общества 14 февраля и одобрена как Советом, так и общим собранием 26 марта 1900 года, опубликована в первом томе «Чтений в Обществе любителей русской словесности в память А.С.Пушкина» под названием «О задачах ближайшей научной деятельности Пушкинского общества в Казани». Как видим, А.С.Архангельский возвращается к старому названию – Пушкинское общество. Так и стали употребляться два названия применительно к одному обществу.

Для А.С.Архангельского было важно не то, что Общество должно делать по Уставу, а что оно может сделать в данный конкретный момент, «располагая настоящими, имеющимися налицо, силами и средствами» [4, С.4]. Задачи определялись чисто научные, «филологического и историко-литературного характера», и популяризаторские, в пределах той же области. Отсюда требования конкретных направлений деятельности.

Научная жизнь, как подчеркивал А.С. Архангельский, не должна быть замкнутой, изолированной. Общество должно «чувствовать себя живой, органической частью всей современной науки, чувствовать в себе живую связь с общим научным движением в избранных областях» [4, С.4]. Оно должно следить за общим ходом науки, чтобы знать, что совершается в этой области, стоять на ее уровне, пропагандировать научные достижения. «Пусть Общество любителей русской словесности, – призывал Архангельский, – будет на первых порах как бы публичной университетской ка-



федрой историко-литературных и филологических знаний, доступных для широкой публики, – а путем издания своего органа и для более широкого круга русского образованного общества» [4, С.6].

Большое внимание в программе уделялось самостоятельным научным исследованиям в области языка и литературы, намечались наиболее важные и перспективные задачи для научных поисков. Это собирание и обследование краеведческого материала (неизвестных памятников письменности, мемуаров, писем, документов, относящихся к деятельности казанских писателей, поэтов, памятников устного народного творчества), анализ провинциальной печати, изданий, изучение всего того, что относится к жизни и поэтической деятельности Пушкина. Последняя задача рассматривалась как одна из важнейших в научной деятельности Общества.

Была ли реализована программа А.С.Архангельского? Мы считаем, что да!

Архангельский сумел привлечь в новое Общество новые силы в лице молодых ученых и преподавателей средней школы, журналистов. Особенно активными были А.С.Рождествин, Ф.Е.Пактовский, С.П. и Д.П. Шестаковы. Они неоднократно выступали с докладами и сообщениями на актуальные темы на собраниях Общества. Например, «Современное общество в произведениях А.П.Чехова» (Ф.Е.Пактовский), «Семья и народ в произведениях Гл.И.Успенского» (Д.Шестаков), «Лев Толстой в критической оценке Мережковского», «Вл.Соловьев как поэт» (А.С.Рождествин).

Опытom научных изысканий делились на заседаниях Общества профессора А.В.Васильев, Е.А.Бобров, Д.А.Корсаков, А.С.Архангельский. Проблематика докладов и исследований очень широкая: от «Истории изучения Святослава сборника 1076 года» (В.А.Бобров) до современного русского и западного литературоведения – «Русские писатели в немецкой оценке» (Д.П.Шестаков), «Памяти М.И.Сухомлинова и И.Н.Жданова» (А.С.Архангельский). Да и объемы работ весьма внушительны – от 10 до 100 страниц. Исследования публиковались в специальном периодическом издании Общества «Чтения». За 1900-1904 вышло 24 выпуска трудов. Часть материалов выходила на страницах казанских газет «Волжский вестник», «Казанский телеграф» и др., где в эти годы существовали даже постоянные рубрики «Общие собрания Пушкинского общества», «Из жизни Пушкинского общества».



Так, в газете «Казанский телеграф» были представлены аналитические статьи с изложением программных документов, характеристик годичных собраний, содержания рефератов, сообщений, докладов и их аннотаций членов Общества. Как отмечает Л.Ф.Хайрутдинова, сотрудничавшие в газете, ученые университета «ставили своей задачей не только предоставление информации о заседаниях, но и показ всей сложности и многообразия проблем и вопросов, рассматривавшихся в отечественном литературоведении и критике». Они знакомили массового читателя с творчеством писателей и ученых, новыми идеями и взглядами, при этом в материалах адаптировали «научный текст к восприятию рядовым читателем, без явного упрощения его идейно-содержательной части» [16, С.65].

Особую ценность имели исследования, посвященные литературно-культурной жизни Казани, творчеству писателей, поэтов, критиков, живших или побывавших в Казани, местному фольклору и т.д. Считают, что Архангельский даже подбирал в члены Общества людей, способных оказать помощь в этом направлении краеведческой работы. Так, вошли в состав Общества бывшие члены-учредители Пушкинского Общества литературы и искусства Н.Я.Агафонов и Н.Ф.Юшков, оставившие замечательные воспоминания, очерки, статьи, на которые до сих пор опираются исследователи истории литературной и культурной жизни Казани. Активно занимался изучением региональной и национальной литературы А.С.Рождественский [16, С.96-146].

Сам же А.С.Архангельский поддерживал связи с потомками Е.А.Боратынского, с П.Боборыкиным, который всегда помнил о студенческих годах, проведенных в Казани, и помогал продвижению литературных трудов казанцев в столичной печати и т.д. В 1900 году, в частности, Казань была единственным городом в России, где действительно отмечали 100-летие со дня рождения Е.А.Боратынского. Центром чествования поэта был университет, а инициатором и организатором – Общество любителей русской словесности в память А.С.Пушкина [7, С.17-19]. На торжественном заседании присутствовал сын поэта – Л.Е.Боратынский, внук – А.Н.Боратынский, внучка и правнучка поэта. К творчеству Боратынского обращались в своих статьях А.С.Архангельский, Е.А.Бобров, Н.Ф.Юшков. В 1900-1901 годы в Казани вышли сбор-



ники стихотворений поэта. Таким образом, делалось все возможное для популяризации и научного изучения творчества «нашего согражданина».

И, конечно же, никогда не забывали в Обществе А.С.Пушкина. Ежегодно проводились специальные заседания, посвященные творчеству поэта, издавались исследования, велась работа по изучению материалов о пребывании поэта в Казани, выявлялись его казанские знакомые, рассматривалось наследие казанских литераторов первой половины XIX века, состояние провинциальной культуры пушкинской поры и т.д. Активными пропагандистами творчества Пушкина в Казани выступали Е.А.Бобров, А.С.Рождествен, Е.Ф.Будде, А.С.Архангельский, мечтавший о том, что Пушкинское общество в Казанском университете будет вести ту же работу, что «Общество» Гете в Германии, Шекспира в Англии и т.д. [6; 11, С.34-44, С.90-114, С.126-135].

Деятельность Общества по достоинству оценили казанцы. Все заседания собирали большое число слушателей, среди которых были преподаватели, студенты, чиновники, семинаристы, учителя, гимназисты. Частыми гостями Общества были управляющий Казанским учебным округом, председатель судебной палаты, прокурор судебной палаты и военно-окружного суда, губернатор с семьей, ректор университета, представители различных ведомств и учреждений. Общество пользовалось уважением и огромной популярностью в городе.

Итак, Обществу любителей русской словесности в память А.С.Пушкина при Императорском Казанском университете за короткий промежуток времени удалось стать центром живой научной деятельности в Казани, пробудить и развить в публике интерес к своим занятиям, служить, в лице своих членов, примером и образцом серьезной научной и просветительской работы.

С уходом с поста председателя А.С.Архангельского, (он был переведен в Санкт-Петербург). Общество стало сворачивать свою деятельность. Оно существовало только номинально, и тем не менее заседания, посвященные А.С.Пушкину, всегда проходили в университете. В 1916 году попытку возродить Пушкинское Общество предпринял профессор Н.М.Петровский, но революция оставила его деятельность.



ЛИТЕРАТУРА

1. Агафонов Н.Я. Казань и казанцы. – Казань, 1906. Ч. I; 1907. Ч. II.
2. Аристов В.В. Первое литературное общество Поволжья. (К истории Казанского Общества любителей отечественной словесности в 1806-1818 гг.). – Казань, 1992.
3. Архангельский А.С. А.С.Пушкин в его произведениях и письмах. По поводу пятидесятилетия со времени его смерти (1837-1887). – Казань, 1887.
4. Архангельский А.С. О задачах ближайшей научной деятельности Пушкинского Общества в Казани. – Казань. 1900. (Чтения в Обществе любителей русской словесности в память А.С.Пушкина при Императорском Казанском университете. Т.1).
5. А.С.Пушкин и взаимодействие национальных литератур и языков: Тезисы международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина. – Казань, 1998.
6. Воронова Л.Я. А.С.Пушкин в оценке А.С.Архангельского // Ученые записки Казанского государственного университета. Т.136, Казань, 1998. С.42-54.
7. Воронова Л.Я. Столетие Е.А.Боратынского в Казани // Слово и мысль Е.А.Боратынского. Тезисы Международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Е.А.Боратынского. – Казань, 2000. – С.17-19.
8. Календарь «Волжского вестника» на 1888 год. Бесплатное приложение к газете «Волжский вестник». – Казань, 1888.
9. Колмаков Б.И. Литературно-критические публикации казанской газеты «Волжский вестник» (1884-1906). Библиографический указатель. – Казань, 2000.
10. Корбут М.К. Казанский государственный университет...за 125 лет. 1804/05-1929/30: В 2-х т. – Казань, 1930. – Т.2.
11. Публицистические чтения. А.С.Пушкин: Казанские страницы: Материалы научно-публицистического семинара. – Казань, 8-9 октября 1998 года. – Казань, 1998.
12. Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь (Гл.ред. П.А.Николаев). – М., 1989. Т.1; 1992. Т.2; 1994. Т.3; 1999. Т.4.
13. Сиповский В.В. Пушкинская юбилейная литература. 1899-1900 гг. Критико-библиографический обзор. – СПб., 1902.
14. Устав Общества любителей русской словесности в память А.С.Пушкина при Императорском Казанском университете. – Казань, 1899.
15. Устав Пушкинского Общества литературы и искусства в г.Казани. – Казань, 1888.
16. Хайрутдинова Л.Ф. «Казанский телеграф». Литературно-критическое наследие (1893-1917). – Казань, 2000.



И. Ю. ПАРЧЕВСКАЯ

зав. экспозиционно-выставочным отделом,
Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина
«Михайловское»

Поэт и музей

«Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта»
Анна Ахматова. 1961

Цель настоящего сообщения – попытаться показать на некоторых примерах, как складывались в 1960-70-е годы отношения отечественных поэтов с музеем Поэта – тем, что остается после его смерти либо воссоздается и популяризируется в память о нем. Именно в это время нарастает туристский бум, и музеи становятся одним из основных источников информации о *жизни и творчестве*. Помимо знакомства с заслуживающими внимания поэтическими текстами, мы можем извлечь из этого чтения практическую пользу: взглянуть на музей глазами *одиночного посетителя*, знающего и независимого, каковым всегда является поэт. То есть увидеть заново и по-новому главного героя нашего музейного повествования. Извлечь уроки, сделать выводы.

Стихотворение Давида Самойлова «Дом-музей» является, по сути, добродушной пародией на тот, увы, расхожий вариант экскурсии, которая сводится к перечислению мемориальных экспонатов, хронологическому изложению биографии, что никак не способствует рождению у посетителя цельного и, главное, уникального образа.

Заходите, пожалуйста. Это
Стол поэта. Кушетка поэта.
Книжный шкаф, умывальник, кровать.
Это штора – окно прикрывать.
Вот любимое кресло. Покойный
Был любителем жизни спокойной.

В стандартном наборе музейных предметов и биографических реалий угадываются намеки на хрестоматийных классиков – Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Ряд можно продолжить. Здесь, так

сказать, собирательный классик, «типичный представитель», гонимый, преждевременно погибший и одновременно благополучно доживший до старости, в изложении добросовестного экскурсовода и восприятию массового посетителя.

Это вот безымянный портрет.
Здесь поэту четырнадцать лет.
Почему-то он сделан брюнетом
(Все ученые спорят об этом).
Вот позднейший портрет – удалой.
Он писал тогда оду «Долой»
И был сослан за это в Калугу.
Вот сюртук его с рваной полкой –
След дуэли. Пейзаж «Под скалой».
Вот начало «Послания к другу».

.....
Годы странствий. Венеция. Рим.
Дневники. Замечанья. Тетрадки.
Вот блестящий ответ на нападки
И статья «Почему мы дурим».
Вы устали? Уж скоро конец.
Вот поэта лавровый венец –
Им он был удостоен в Тулузе.
Этот выцветший дагерротип –
Лысый, старенький, в бархатной блузе –
Был последним. Потом он погиб.

Литературная шутка, однако, заканчивается вполне серьезно, и здесь уже внятно звучит авторский голос:

Смерть поэта – последний раздел.
Не толпитесь перед гардеробом...

Сравним с тем же пародийным приемом у Булата Окуджавы («Александр Сергеевичу хорошо...»):

Он умел бумагу марать
Под треск свечки.
Ему было, за что умирать
На Черной речке.

Стихотворение Давида Самойлова «Святогорский монастырь» писано уже полностью от лица автора, но выражает ту же острую

реакцию на общепринятый, стертый, упрощенный вариант восприятия массовым сознанием трагической биографии поэта.

Вот сюда везли жандармы
Тело Пушкина... Ну что ж!
Пусть нам служит утешеньем
После выплывшая ложь,
Что его пленяла ширь,
Что изгнание не томило...
Здесь опала. Здесь могила.
Святогорский монастырь.

Поэтическое сознание в силу своей природы обнаруживает живое и подвижное в, казалось бы, навсегда застывшем музейном пространстве. Дом Поэта предстает в одноименных стихах Евгения Рейна не хранилищем онемевших меморий, а именно *домом*, который, кажется, только что покинул хозяин. И вещи остались представлять за ушедшего. Их цена не измеряется условными единицами. В данном случае поводом для размышления о преходящем и вечном служит дом выдающегося венгерского поэта Эндре Ади:

Я был в квартире Эндре Ади
И не застал там никого.
И все же, все же, бога ради,
Не забывайте дом его.

Ни полинялые диваны,
Ни рамки в стиле «либерти»,
Венецианские стаканы,
Цена их – бог не приведи!

Не разрушайте дом поэта
Среди корысти и беды,
По случаю кончины света
И всяческой белиберды.

Свет отгорит и вспыхнет снова,
Взойдут народы и падут,
Но этого молитвослова
На столике не создадут.

Здесь отчетлива перекличка с эпитафией из Анны Ахматовой, который предпослан данной работе. Он взят из ее стихотворения «Александр у Фив», и эти слова вложены поэтом в уста завоевате-

ля Александра Македонского. Важно отметить, что Евгений Рейн – один из учеников Ахматовой, и установленная ею шкала ценностей для него так же естественна и непреложна. Он знает, что

Приют поэта, дом поэта –
Прихожая небесных роц.

В стихотворении «Взгляд с крыльца Дома Поэта в селе Михайловском» Е.Рейн строит художественный образ, в буквальном смысле *отталкиваясь* от воссозданной музейной постройки, следуя траектории пушкинского взгляда и в прямом, и в переносном значении этого понятия. Если говорить о практической пользе такого текста, то именно он помог при разработке концепции реэкспозиции Михайловского определить, какое место занимает залыце с выходом на балкон в тематической структуре Дома-музея А.С.Пушкина.

Крыльцо елозит под ногой – обледенело,
А мне приплясывать, скользить – забава,
Однако все же посмотри налево,
И прямо тоже, и потом направо.

Там за рекой поля – края снега,
Лес первый, лес второй, лес третий –
Такая тихость, глубина, нега,
Какую никогда, нигде не встретить.

Пространство под взглядом поэта раздвигается, обретая немислимую для обычного глаза протяженность и глубину:

А дальше что? Пойдет тайга, чащи,
Алтийский брег или чухонский омут.
Но даже конь и аппарат летящий
Преодолеть пространство это могут.

А дальше что? Стоит сырой Лондон,
Зеленый лавр венчает путь к Риму.
Среди холмов латинских торф болотный,
Столь не похожий на родную глину.

Затем воображаемое пространство постепенно вновь сужается до реального, соответствующего невеселой правде быта опального гения:

А тут снега идут – сугроб до неба.
А наметет еще – дойдет до бога.
И жизнь тиха – от кабинета
Вся умещается и до порога.



Когда метель стучит, как дождь с громом,
А жар от печек, что тоска, угарен,
Сидит и цедит кипяток с ромом
В селе Михайловском его барин.

«Белые стихи» Александра Кушнера следуют соответствующей пушкинской традиции («Вновь я посетил...»), но в насмешливо-ироническом ключе. Автор явственно различает разрыв между носителем поэтического слова и современной, утратившей навыки чтения аудиторией, с точки зрения которой

...все стихи всегда

Про что-то непонятное, не станет
Нормальный человек писать стихи.

Его стихи, которые он читает на Пушкинском празднике в Царском Селе (вероятно, посвященном 19 октября), слушает и понимает лишь бронзовый поэт, сидящий на чугунной скамье в лицейском садике. И от этой встречи открывается новое зрение, и в душе автора возникает «подобие волнения... или намек на смысл». Тут и появляется дом, который нанял Пушкин с молодой женой летом 1831 года.

Стоял на тихой улочке, на самом
Ее углу – прелестный, с мезонином,
Старинный домик, явно подновленный,
Ухоженный, с доской мемориальной.
Так вот он, дом Китаевой! Так вот
Где парочка счастливая, но втайне
На гибель обреченная жила
В холерном 31-ом...

Высокое волнение, однако, отступает, когда наш поэт попадает внутрь.

Я вошел,
Купил билет... Безлюдье и сверканье.
Как царский камердинер был бы этим
Роскошеством приятно удивлен.
Дом никогда таким нарядным не был.
Но, впрочем, мебель сборная, картинки
На стенах, текст, составленный тактично,
Меня ничто, ничто не задевало...

Тем не менее и здесь, в пограничной зоне между музейной экспозицией и тихой царскосельской улочкой, находится нечто, не только не мешающее свободной ассоциации, но даже направляющее в нужное русло поэтическую мысль, от которой взволнованно перехватывает дыхание:

Вот только полукруглая одна
Верандочка, стеклянная игрушка,
Построенная для игры в лото
И чтенья вслух, скрипучая, сквозная,
Непрочная верандочка, залог
Другой какой-то, невозможной жизни,
Кусочек рая, выступ, выход, — как
Его искал потом он, — неприметный,
Такой простой, засыпанный сухими
Сережками, стручками, — не нашел!

Отношения Александра Кушнера с литературным музеем, как мы видим, строятся на откровенном неприятии навязчивой для него формы увековечения памяти великого поэта. Даже мемориальную вещь, допустим, державинскую солонку, ему важно выволить из музейного плена и мысленно перенестись с нею в дружелюбную Званку:

Я в музее сторонкой, сторонкой,
Над державинской синей солонкой,
Оттененной резным серебром.
И припомнится щука с пером
Голубым и хозяин в халате.
Он, столичную роскошь кляня,
Ради дружеских ласк и объятий
Приглашает к обеду меня.

Заметим попутно, что современный поэт с великим «на дружеской ноге» не по самонадеянности, а по праву духовного родства. Он наследует по прямой традиции существующего от века поэтического братства. Его визит к Державину весел, естествен и убедителен, в духе и стиле гостеприимного хозяина:

Сквозь века — приглашенье к обеду.
Я сейчас! Соберусь и приеду.
Я сейчас! Уложусь и примчу.
И солонку с собой прихвачу.

Фантазия поэта рисует бодрую картину волшебного повторения жизни, ключом к которой, заветной лирой и служит этот возвращенный законному владельцу предмет:

Уж как он улыбнется солонке.
Как она заиграет в сторонке
Над уставленным тесно столом
Прежним отблеском, синим стеклом.
Ляжет прочно, как старая лира.
И начнется второе житье.
И Катюша, она и Пленира,
Крупной солью наполнит ее.

Еще немного, и солонка станет чернильницей, и польются стихи. Но нет. Новых стихов не будет. Сбудется, видимо, державинский прогноз о прозорливой вечности:

Тут хозяин, сжав пальцы до хруста,
Скажет: «Все ничего, только грустно,
Что подружка грибов и супов
Долговечнее наших стихов».

На другом полюсе отношения к музею Поэта – уникальный опыт нашей современницы Татьяны Галушко. Около тридцати лет жизни отдала она работе во Всесоюзном музее А.С.Пушкина (Ленинград), многие годы – в качестве заведующей экспозиционным отделом. Кстати, именно ей принадлежит авторство экспозиции музея «Дача Китаевой», что вызвала такой протест у Александра Кушнера. Татьяна Галушко соединяла в себе дар поэта и высокий профессионализм исследователя-пушкиниста и музейного практика. Однако никогда не смешивала два этих ремесла, сказав однажды:

...мне в музейную суму
За песней лазить не пристало.

Тем не менее в ее стихах стилистически и тематически отчетливо звучит «пушкинское» начало, обусловленное особой близостью к нему, профессиональной и, что еще важнее, природной. Ибо, по ее собственному слову:

Любой поэт, рожденный позже,
Родня тому (Пушкину. – И.П.)...

.....
Неистребимы эти дрожжи.

Ее, поэта, отличало и особое чувство пушкинского времени, и особое – родственное – отношение к нему. Однажды она горестно призналась:

Я ошиблась веком и войной,
Я ошиблась собственной родней...

Зато работа в музее Пушкина давала возможность, с одной стороны, утолить тоску по *настоящему* времени, с другой – увидеть глазами музейщика, как

...очарован и нежен
Невыцветший подлинник сада,

как по-пушкински неповторим и близок завещанный ей судьбою почерк решетки набережной Мойки («Решетки этой почерк отродясь // Я жалованной грамотой считала»). Но также почувствовать и выразить неизбежность и необходимость дистанции между тем временем и этим, между Им и нами, как в стихотворении «Речь овдовевшей музы», где поводом для разговора становится знаменитый портрет А.С. Пушкина работы О.А. Кипренского:

Это вовсе не портрет –
Просто в зеркале остался
Тот, кто рядом столько лет
То сердился, то смеялся...
.....

И сейчас его черты
Лишь такими видишь ты,
Врезанными в амальгаму
Страшной силой световой.
Он и вправду там живой.
Но не трогай: мы с тобой
За порогом этой рамы.

В отличие от Александра Кушнера, она не отвергает музейную реальность, а стремится к ней за вдохновением, и для нее мемориальный предмет – «Четыре тусклых // Шарика в шкафу светелки» – своего рода путеводитель по заповедным памятным местам, которые давно уже обрели прочное портретное сходство с необычным хозяином («Бильярд Пушкина в Михайловском»):

То не озеро Кучане,
То чернил разбег и росчерк,



И висок его курчавый –
Та коричневая роца.
Не забыть, не отоспаться,
Не уныться жадной тяге:
Вот шары – их брали пальцы,
Голубые под ногтями...

У А.Кушнера музейный предмет противопоставит недолговечному поэтическому слову, во времени переживает его, а у Т.Галушко служит путеводителем:

К дому, к имени, к полудню,
К строчкам пушкинским –
Бессмертным.

В конце жизни ей довелось опять побывать в Михайловском, и видно, как изменилось за четверть века (еще и в связи с ураганом 1987 года) ее отношение к понятию «вечности». Но неизменным осталось понятие «заповедности», не изменилась раз и навсегда прочувствованная и принятая ею, поэтом, шкала жизненных ценностей («В отпуск в заповедник»):

Зря я себя за безродность казню
Вогина памяти взята в казну
Купной, всеобщей истории века
Что нерушимое? Роца и склон?
Все повторимо. Единствен лишь он,
Голос любившего их человека.
Мчаться за тридевять – ветку пожать...
Вовсе не вспомнить – забыть. Дрожать...
Настежь въездные распахнуты ели.
За обручальную этой чертой
Необлетающий век золотой,
Вечность для смертного на две недели





М.А. БЕСАРАБОВА

*старший научный сотрудник,
Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина
«Михайловское»*

А.С. Пушкин – поэт-этнограф

Заголовок предполагался в кавычках, так как 100 лет назад в 1899 году вышла книга профессора В. Миллера с подобным названием. Не теряя своей актуальности и сейчас, на богатом фактическом и биографическом материале, книга эта иллюстрирует суть пушкинской работы с фольклорным текстом и традициями, принципа стилистического смещения в русле становления общенациональной литературной нормы. Миллер писал: «Я называю поэта этнографом в более узком, специальном смысле. Я имею задачей оценить значение Пушкина, как поэта любителя и знатока духовного творчества русского простонародья, ценителя родного языка, собирателя народных песен и сказок и уяснить его заслуги перед русской этнографией» [1, С.3].

Краткое определение этнографии, относящейся к историческим дисциплинам: наука, занимающаяся изучением культуры и быта народов мира. В более позднее время профессор Г.В.Вернадский обратил внимание на эту же «заслугу» поэта: «Пушкин не был историком по профессии, он не имел ученой степени. Он не оставил после себя толстой диссертации, ему не уделяют особое место в обзорах русской историографии. Тем не менее, его историографическое значение огромно... ничтожный житейский анекдот, пройдя сквозь горнило пушкинского духа, приобретал какой-то особый вес и ценность. Исторический дар Пушкина относился одинаково к прошлому, настоящему и будущему» [2].

Оценив во время южной ссылки романтические достопримечательности и новизну пестрых картин быта других народов, Пушкин подходит к решению проблемы самобытности и самоопределения народа, нации, личности. Эта проблематика характерна для литературы нового времени. Буффонада и народные традиции комедии *delle arte*, травестия и гротеск – приемы решения этих вопросов.



Затем, на фоне реалий быта в ссылке в Михайловском, происходит подход поэта к решению проблемы «народности» в контексте традиций русского этноса, к которому, надо сказать, относилось и дворянство. В своей статье 1825 года Пушкин писал: «С некоторых пор вошло у нас обыкновение говорить о народности... жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы, но никто не думал определить, что понимает он под словом народность».* И заканчивает так: «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу». Говоря словами В.В.Виноградова: «Для Пушкина проблема народности не сводилась ни к литературно-декоративному употреблению просторечия и простонародного языка, ни к простой стилизации народно – поэтического творчества, ни к «выбору предметов из отечественной истории. Пушкин выдвигает идею национально-смыслового контекста» [3]. В русле этого Пушкин пытается осмыслить и «опозитизировать» современный ему быт, в том числе быт национальный. По словам архиепископа Константина (К.И.Зайцева): «Бытийное добро и духовное здоровье русской национальной стихии – вот что являет собой Пушкин... – есть художественно отраженный и нравственно утвержденный русский быт» [4].

Уже со второй половины 20-х годов для творчества Пушкина характерен перенос библейских образов и мифологических сюжетов, типичных для просветительской эстетики, в сферу повседневной жизни, герои которой, заговорили у него живым русским языком. Принцип реалистической дифференциации речи разных персонажей применен, по словам В.В. Виноградова, еще в третьей главе «Евгения Онегина», писавшейся в Одессе. Но там речь няни еще «опозитизирована», наряду с намеренно-простонародными включениями, призванными передать реальный бытовой язык двора. В четвертой главе «Евгения Онегина» Пушкин отказывается от этого приема, включая персонаж этого мира в подтекст самого структурного языкового пространства романа:

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей

* Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. АН СССР, 1949. Т.11. С.40. Далее ссылки приводятся по Большому академическому изданию с указанием тома и страницы.

Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.

Факт биографического посвящения вызвал сомнения у наиболее чутких читателей: «Нянька сеяла, когда ему был 3, 4... лет, в Михайловском он относится к ней как филолог... А стих «читаю только старой няне» просто краска, а не свидетельство...» (Майков А.Н. – Юрьеву С.А., май 1880). «Буря кажется успокоилась, осмеливаюсь выглянуть из моего гнезда и подать Вам голос... вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны... она единственная моя подруга – и с нею только мне не скучно» (XIII, 129) – добавляет «краски» сам Пушкин в письме к Д. М. Шварцу в декабре 1824 года. В традиционном понимании, уместней для поэта беседовать с богами, с музами, как в пушкинском стихотворении 1821 года «Муза»: «Прилежно я внимал урокам девы тайной».

Эту характерную для романтической поэзии мысль передал Дельвиг в своем «Изобретении ваяния» (Идиллия), утверждая от лица художника, создавшего бессмертное произведение:

Где я? стрела прорезала небо! Олимп предо мною!
(1825)

И, словно, совершая обратный экскурс, процитировал его Пушкин в 1836 году:

Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую...
Сколько богов, и богинь, и героев!..
Грустен гуляю: со мною доброго Дельвига нет...
(III, 416)

ощущая его вневременную поддержку из далекого Элизиума:

Нет, Пушкин, рок певцов – бессмертье, не забвенье,
Что зависть перед ним, ползущая змеею,
Когда с богами он пирует в небесах?

«А.С.Пушкину», 1817

Элизиум – как своеобразное содружество всех поэтов живых и бессмертных в памяти народа – к осознанию этой реальности, приходят друзья одновременно. Получив от Пушкина в письме стихотворение «Прозерпина», Дельвиг так реагирует: «Прозерпина не стихи, а музыка: это пение райской птички... Эти двери давно мне знакомы. Сквозь них, еще в Лицее, меня часто выталкивали из Элизия...» (XIII, 107). При этом, будто не замечая пушкинского окончания:

И счастливец отпирает
Осторожною рукой
Дверь, откуда вылетает
Сновидений ложный рой.
(II, 320)

Миллер писал: «Наследовав взгляд и манеру западной литературной школы, наша зарождающаяся историческая литература видела в периоде русской древности эпоху героическую и изображала ее во вкусе классической древности или отыскивала в ней эпоху патриархальной невинности и простоты нравов, внося в ее изображение классической идиллии. В такую же идиллическую патриархальность облекала поэзия и современный быт простонародья, прикрашивая и подрумянивая крестьян (пейзанов), когда в тон опер из их быта народного толка, выпускалась на сцену, для увеселения публики родными песнями и национальной пляской» [1, С.34].

Религиозно-философские поиски и та идеологическая перестройка, которая проходила с Пушкиным в Михайловском, отразилась в своеобразной пародии на «Прозерпину» в 1825 году:

Что с тобой, скажи мне, братец?
Бледен ты как святотатец,
Волоса стоят горой!
Или с девой молодой
Пойман был ты у забора,
И, приняв тебя за вора,
Сторож гнался за тобой?
Иль смущен ты привиденьем,
Иль за тяжкие грехи,
Мучась диким вдохновеньем,
Сочиняешь ты стихи?
(II, 448)

Плутон здесь превращается в сторожа, Прозерпина в деву, двери Элизиума в калитку в заборе, Муза – стала привиденьем, а божественное вдохновенье – «диким».

Характерно применение слова «святотатец» из народно-православного лексикона, напоминающего о «полных любви укорицах» Арины Родионовны. «Есть множество тайн, которые крестьянин принимает попросту, доверчиво и мудро, не любопытствуя о них далее, смиряясь перед неведомым... Обуздывать жадность в



познании есть такая же добродетель, как полагать предел похотям плоти», – писал знаток народно-православных воззрений П. Флоренский [5].

Поэта мучали вопросы «Дон Гуановского» своеволия, вызова обществу и Богу, о чем свидетельствует хотя бы его неожиданный ответ на вопрос гостя, что он читает (в период южной ссылки). «Историю одной статуи» [6], – рассеянно ответил Пушкин, держа в руках Евангелие. Позволю высказать предположение о том, что поэт думал в тот момент об атеисте Дон Жуане, вернее, о переложении мольеровского «Каменного гостя», пьесе Доримона.* Напечатанная после смерти Мольера, вместо «безбожного» оригинала, она была сфокусирована на мотивах личности Дон Жуана и его похождениях. Морализаторский характер этой замены понятен. Самого же мольеровского «Дон Жуана» еще долго не печатали, и, прежде всего потому, что «в мифе заложен вечный спор между коллективной моралью – основой общечеловеческой нравственности и сокровищницей общечеловеческих ценностей, с одной стороны, и личной моралью – стремлением человека к неизвестному, основой, источником развития человека, его истории и культуры, главным гарантом перемен и обновления» [7]. Из письма Пушкина Вяземскому в апреле 1824 года: «Читая Шекспира и Библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира. – Ты хочешь знать, что я делаю – пишу пестрые строфы романтической поэмы – и беру уроки чистого афеизма... Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастью более всего правдоподобная» (XIII, 92). Тема Рока и ответственности как следствие уроков атеизма в полной мере раскрылась в творчестве поэта в период михайловской ссылки, непосредственным поводом к которой было это перехваченное письмо и обвинение Пушкина в атеизме.

Буря, происходившая в душе, обернулась ссылкой наяву, и утешать опального поэта выпало, в том числе, людям не его круга. Можно представить, что на это сказала няня: «Бог милостив, не отступит от тебя, доколе не сокрушит сердца твоего, или костей твоих».** Атеистическое по сути мировоззрение поэта и его окружения, в духе французского рационализма и барочного позити-

* Новый каменный гость, или Атеист, поверженный молнией.

** Евангелие, пророк Есей.



визма, сформировалось уже в Лицее. Известный Пушкину Жозеф де Местр (1753-1821) писал: «Философия прошлого века, которая явится в глазах потомства одною из позорнейших эпох в истории человеческого ума, сделала все, чтобы рассуждениями о вечных и непреложных законах отвратить человека от молитвы. Излюбленной, чуть ли не единственной ее целью было оторвать человека от Бога – и каким же более верным путем могла она подобной цели достигнуть? Вся эта философия была по сути не чем иным, как системой практического атеизма. Странной этой болезни я дал особое название – теофобия (богобоязнь). Присмотритесь поближе – и вы обнаружите ее симптомы во всех философских сочинениях 18 в. Тогда не говорили прямо: Бога нет – такое заявление могло повлечь за собой известные неприятности физического свойства – но выражались следующим образом: «Бога нет здесь» [8]. Эта модная философия не нашла свободного выражения в условиях новой государственной политики Александра I, после августа 1822 года.* Образной попыткой «воцерковления» в духе навязанной сверху моды на православие, можно считать пушкинскую Татьяну, которая:

русская душою,
Сама не зная почему.
(V1, 98)

Время притупило иронию, понятную современникам Александра Сергеевича, которую они были вынуждены скрывать. Ирония эта в тексте подкреплялась дальнейшим описанием того, как православная Россия вместе с Татьяной встречала «крещенские вечера»:

По старине торжествовали
В их доме эти вечера:
Служанки со всего двора
Про барышень своих гадали
(V1,99)

Татьяна, по совету няни
Сбираясь ночью ворожить,
Тихонько приказала в бани
На два прибора стол накрыть;
Но стало страшно...

* См. Указ о запрещении масонских обществ и начало поворота политики в сторону национальных приоритетов.



Слово «страшно» – уже от «романтизма», вне анализирующего просветительского сознания, где отрицательный заряд гордыни всемогущего просвещения несет положительный заряд убеждения необходимости разрушения суеверий и заблуждения. В отличие от этого, романтики, в частности Руссо, проповедуют, что только человеческое сердце содержит в себе нравственные ориентиры, существующие для проникновения в мир истин и Бога. «Такова нравственная вера, простота которой отлична от умствований или пристроек» – писал Кант [9], который считал Руссо автором истинной теодицеи, то есть оправданием Бога в этом злом мире. По словам Лотмана: «Эпоха романтизма, поставив вопрос о специфике народного сознания, усматривая в традиции вековой опыт и отражение национального склада мысли, реабилитировала народные «суеверия», увидев в них поэзию и выражение народной души» [10]. Отсюда увлечение эпохой «простоты нравов» патриархальных народов у романтиков, пропагандистом и переводчиком которых был Жуковский.

И я – при мысли о Светлане,
Мне стало страшно – так и быть...
С Татьяной нам не ворожить.

(VI,101)

Отсылкой к «Светлане» Жуковского, Пушкин как бы поправляет своего «побежденного учителя», у которого девушка гадала в светлице [11]. Гадали только в неосвященном помещении, лучше всего в бане. Столик так и остался стоять в бане, воссоздавая мистический «коридор зеркал» с другим зеркальцем:

А под подушкой пуховою
Девичье зеркало лежит.
X1.

И снится чудный сон Татьяне...

Сон – в котором как в зеркале отразилось **«образ мыслей и чувствований, ...тьма обычаев, поверий и привычек»**, по словам Пушкина, глубины подсознания с символически угаданным в нем будущим. Надо сказать, «страшные» гадания, сопровождаемые призывом нечистой силы, снятием креста и пояса, не поощрялись в народной среде, а сами эти действия носили опасливый

термин «вродывать».* Для ограничения подобных опытов рассказывались святочные былички об увечиях и смерти любопытных, пытающихся самовольно заглянуть за границы дозволенного. Зато гадания довольно широко входили в сценарий поведения молодых девушек-дворянок, особенно во время Святков, в духе приобщения к «национальной душе». Подобные немудреные оккультные опыты были в большой моде в романтической культуре высшего общества, культивировавшего спиритуалистические знания в духе анализирующей эпохи. Так, к примеру сестра Пушкина Ольга Сергеевна, «убежденная в истине бессмертия души, пришла к выводу, что отошедшие души наших родственников и друзей могут порою навещать оставшихся, а раз допустив это, она допустила бытие и других неразгаданных существ иного мира, духовного» [12, С.35]. Как тут не вспомнить пушкинское «Посвящение Осиповой»:

Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.
(II, 395)

Этой романтикой проникнуты поэмы Жуковского, переписка друзей Пушкина, занятыми поисками подобных признаков духовности как у себя, так и в народной среде. У самого Пушкина, позднее близко узнавшего взгляды и народные правила, это вызывало насмешку. Няня Татьяна, прообразом для которой, по словам Пушкина, была Арина Родионовна, посоветовав ей погадать, все же, видимо, неприминула рассказать быличку, наподобие записанного Титом Козмократовым «Случае на Васильевском острове».** В результате Татьяна отказывается от своего намерения, происходит замена «страшного» гадания на более безопасную форму. Русская деревня, с ее синкретизмом и религией эстетики (пользы – как начальной категории), мирно уживавшейся с официальной церковью, оказалась единственным органичным местом пребывания для ссыльного Пушкина. Действительно, его, «как Антея», спасла родная земля, народная вера и его мудрое смирение.

«Питайте уважение к религии, – писал в апреле 1824 года А. Раевский, повторяя официальный мотив ссылки. Многие из воспитанников «рей

* Архив автора

** Запись рассказа А.С. Пушкина.

александровых прекрасного начала», оказываются выброшенными на окраину государства и государственности, в «пустыню хладную» иных социальных кругов: в ссыльные, каторжные, в солдатчину, бегему, изгой. Большинство же, «сохранив ум свободный», не имея возможности другой реализации – «шутки злости самой черной / Писала прямо набело» (III,69). Тогда же начинается складываться менталитет русского дессидентства и бегства за границу, как альтернативы этому существованию. Пушкину в этом отказывают, жизнь даже после ссылки оборачивается злой шуткой:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана... (III,104) –

пишет он в период неудачного сватовства, тоже своеобразной попытки бегства. А в ответ получает морализаторское пеняние митрополита Филарета. Пишет учтивый ответ:

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует. (III, 212),

но в письме к Хитрово раздражается саркастическим – «назидательные стихи христианина, русского епископа, в ответ на скептические куплеты! – это, право слово – большая честь» (XIV,398). Суета – по словарю В.И. Даля – тщета, несоответствие формы содержания, пустота, ничтожность, бесполезность помыслов и дел, а, кроме того – *забава, игрушка, любимое занятие*. Суе, или всеуе (нар.) – напрасно, тщетно, попусту – относится к нашей жизни мирской, светской [13]. В псковском диалекте слово «суета», «суетница» [1, С.59] применяется по отношению к невесте, что использует Пушкин в «Евгении Онегине»:

Опять любовник молодой
Бежал за милой суетой.
(VI,62)

Записавший целый цикл свадебных песен в Михайловском, Пушкин свободно пользовался этим значением, тем более что оно уже было апробировано в литературе так называемых «народных песен», которые Пушкин «постоянно и деятельно... импровизировал» [14]. Каламбурность, характерная для пушкинского стиля, легко воспринималась людьми его круга, как остроумие и признак хорошего тона. Многослойность, двусмысленность значений стимулировала научные изыскания происхождения слов. Пушкин активно составлял словарь древнерусских слов, еще со времени ли-

дейских встреч с Карамзиным. Видя проблему народности языка не в употреблении так называемых славянизмов, а в распознавании их основ в современной модификации, Пушкин закладывает основу высокого реализма. Эта задача упрощалась тем, что для пушкинского времени было характерно «неотделение фольклора от древнерусской литературы и истории» [15]. А усложнялась – бытовым преобладанием французского языка. То, что писатели того времени, в том числе и Пушкин, пользовались подстрочным переводом, свидетельствует, к примеру, такое письмо Пушкина к П.А.Вяземскому в августе 1825 года, с разбором его стихов: «2-ая строфа – прелесть! – Дождь брызжет от (такой-то)/сшибки/Твоих междуусобных волн. /Междуусобный значит *mutuel*, но не заключает в себе идеи брани, спора – должно непременно тут дополнить смысл» (X111,209). При подстрочном, мысленном переводе с французского «история» – звучала как «анекдот». Анекдоты, фантастические и поучительные истории, сказки, народная поэзия «ставил дворянское общество в очень близкое соприкосновение с крестьянством... С детства господские дети росли между санными девушками, на попечении нянек, мамушек, вроде Арины Родионовны... И господа не брезговали ни песней ни сказкой...» [16]. Этот репертуар характерен для досуга на даче, усадьбе, особенно в период святочных посиделок, наполненных предсвадебными приготовлениями. Хозяйка с дочерьми вышивала, или перематывала пряжу санных девушек с помощью небольшого ящичка – «цевницы», со вставленным в него стержнем с колесиком. На стержень надевались «цевки» – полые трубочки, напоминающие свирель не только по названию, но и внешним видом. В руках Марии Алексеевны Ганнибал или ее наперсницы и преемницы Арины Родионовны это приспособление легко трансформируется в «семиствольную цевницу» Музы-Парки. Характерный для трагедийного творчества Пушкина образ Музы поворачивался разными гранями в стихотворении, посвященном М.А. Ганнибал «Наперсница волшебной старины...» (II,272), в послании к Филимонову (III,99):

Вам Музы, милые старушки,
Колпак связали в добрый час
И, прицепив к нему гремушки,
Сам Феб надел его на вас.

В 1828 году, в черновиках восьмой главы «Евгения Онегина»:

Мы любим Муз чужих игрушки
Чужих паречий погремушки
А не читаем книг своих...

(VI, 616)

В период ссылки в родовом поместье мучительные раздумья поэта о пределе прав рассудка на открытие и смирения перед непознанным, осознание причинно-следственных связей разных уровней бытия – происходят на фоне незатейливых бытовых зарисовок.

Среди отечественных поэтов своим предшественником он считал Г.Р.Державина Пушкин упорно читал его в Михайловском, ругал в письмах Дельвигу: «Этот чудак не знал ни русской грамматики, ни духа русского языка...» (XIII, 182), но не переставал восхищаться смелостью его барочных образов. В державинской «Зиме» можно увидеть прообраз пушкинского «Зимнего вечера»:

Поэт.

Что, ты, Муза, так печальна,
Пригорюнившись сидишь?
Сквозь окошечка хрустальна,
Склоча волосы глядишь;
Цитры, флейты и скрипицы
В белы руки не берешь;
Ни божественной Фелицы,
Ни Пленеры не поешь?

Муза

Что мне петь? – Ах! где хариты?
И друзей моих уж нет...

Поэт

Огонь разложим средь каминов,
Милых сердцу соберем;
И под арфой тихогласной,
Наливая алый сок,
Воспоем наш хлад прекрасный:
Дай зиме здоровья Бог!

У Пушкина нет ни призывов друзей, ни жалоб на одиночество – эти ощущения достигаются за счет описаний природы:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь она завоет,
То заплачет, как дитя...

(II, 439)

«Возмужание» поэта, отмечаемое А.Ф.Белоусовым [17] как психологический фон этого стихотворения, выражается в творческой мощи, способности противостоять невзгодам и обществу, преобразая действительность, «жить с Музой в ладу» (15, С.189). Ожидание, надежда, сменяющие тоскливым:

То по кровле обветшалай
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
(II, 439)

Кровля – от кров, защита; «обветшалай», не в смысле ее старости, а следствии ее непрочности, слабости временного перед всемогущей Судьбой. Отмечаемое А.Ф. Белоусовым [17, С.20-21] почти мистическое отстранение собеседницы лирического героя, «доброй подружки» (няни) и принадлежность ее инфернальным силам (Парки) перекликается в сознании анализирующего читателя с образом другого бездействующего мыслителя – Фауста, над которым Пушкин работает в это же время, в Михайловском.

«Скажи, какие заклинанья
Имеют над тобою власть?..»
Довольно одного желанья –
Я, как догадливый холоп...
Явлюсь. Что делать – я служу,
Как нянька бедная, хожу...
За вами – слушаю, гляжу.
(II, 380)

Ходить и поглядывать за человеком нечистая сила считала своей обязанностью, но подобный оттенок почти домашней услужливости и предупредительности – от традиции русского фольклора. В христианской традиции дьявол и его приспешники полны ненависти к роду человеческому и актуализируются через страсти и похоти, через психические состояния человека, его природу. Западно-европейский сентиментализм и романтизм, с их культом природы и духов, далеки от подлинного пантеизма и являются эгоистическим присвоением состояний природы и средством ее подчинения. Русскому национальному менталитету, наследнику византийской, греческой культуры, свойственны иные отношения с природой – чувства уважения, восхищения, любования:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
(III, 195)

«Равнодушная» – сложносоставное слово, означающее – «равная душе» человека. В представлении русского человека природа сама обладает душой, каждое ее проявление творчески одухотворено и связано друг с другом и с человеком. «Все вещи – центры исходящих тайных сил... Пересекаясь, сплетаясь, запутываясь, эти черные лучи, эти нити судеб вяжут узлы – новые центры, как бы новые многообразные манифестации природы, то являющиеся, то пропадающие в поле зрения повседневного, то заволакивающиеся от солнечного света... Это бесчисленные существа – лесовые, полевые, домовые, подовники, сарайники, русалки, шишиги или кикиморы и т.д. – двойники вещей, стихий, воплощенные и бесплотные, добрые и злые... Но прежде всего это живые существа. Они покровительствуют человеку и враждуют с ним» – писал Флоренский [5]. В соответствии с мифологией, няня представлена сдерживающим эти силы, но одновременно принадлежащая к ним, добрым «гением», домовым, хранителем нитей судьбы:

Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
(II, 439)

Характерно, употребление словосочетания «под жужжаньем», а не «под жужжанье», то есть задремала спокойно, по привычке.

По народным поверьям, «если пряжи дремлют, а веретено вертится, то говорят, что за них пряла Мокуша». Няня – Мокушь, – аналог Мойры, Парки, об этой параллели в стихотворении «Зимний ветер» блестяще написал А.Ф.Белоусов [17]. Тогда же у него, по-видимому, возник вопрос: откуда механическое «жужжание» обычно бесшумного веретена? Отвечая, он вскользь называет «кружала», на которые перематывают пряжу с веретен. Однако, речь идет об одном веретене. К тому же, при перематке вручную, пусть даже с помощью «цевницы», возникает характерный музыкальный скрип, что могло вызвать описанную выше аналогию с флейтой, цевницей. Жужжание появляется при гораздо более ус-

коренном вращении нити. Очевидно, Пушкин слышал звук самопрялки или самопряхи – механического приспособления для прядения, упомянутой им в неоконченном романе «Арап Петра Великого», где за нею сидела дворовая девушка Ржевских – предков Пушкина (о старом быте которых часто рассказывала Арина Родионовна).

Самопрялка – иноземная форма, возникшая на западе в XVI веке и медленно распространившаяся в России с 60-х годов XVIII века через помещичьи усадьбы и фабрики. Обычная для XIX века, в петровское время она была новшеством, попав в роман механическим переводом рассказов няни о быте времен бабушки Пушкина, Марии Александровны.

Поначалу вызвавшая в народе суеверный ужас, самопрялка порождала рассказы о нечистой силе.* Известно два типа самопрялок: «лежак» (голландского происхождения) и «стояк» (немецкая). Конструкция их состояла из «ножки» (остова), мостка (подножки), для работы ногой, большого круга – «подгонялки» и «шпудлей» с «подшпудльниками», на которые наматываются нитки и «струны», или «рогача» – веревки, соединявшей подшпудльники с большим кругом. Большой круг мельканием спиц напоминал «колесо Фортуны», кетати, нося в псковской деревне характерное название: коловорот – годовой круг солнца [18]. Задремать за самопрялкой было делом немудреным, поскольку процесс был автоматизирован, оставляя возможность для традиционной беседы о превратностях Фортуны переменчивой судьбы. Эта тема была особенно актуальна в преддверии свадеб, когда и занимались прядением и приготовлением приданого, отсюда:

Спой мне песню, как девица...
(II, 439)

Мокошь считалась покровительницей брака, исследователи видят связь сочетания. Мокошь (богиня) – Мокешь (мокрая) [19] с древним глаголом тешить-тишить. Утишить, успокоить, потешить, развеселить, эту связь тонко почувствовал Пушкин, не случайно:

Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская. Известная примета!

* «Нечисто» – в русской деревне означает непонятно, таинственно. «Чисто» – когда сам, своим трудом и мастерством (Прим. авт.).

...Печалию согрета
Гармония и наших муз и дев.
Но нравится их жалобный напев...
(V, 87)

Утешают обычно горе, эта связь породила своеобразный оттенок в русской свадебной обрядности, которую Пушкин выразил так: «Наши свадебные песни унылы, как вой похоронный» (XIII, 476). Пушкин чувствовал единый архетип фольклора народов мира, когда писал: «Сказки и пословицы – доказательство нашего сближения с Европой» (XII, 208). Традиционное восприятие неоднократно умирало нервную изощренность пушкинской мысли, давая ей необходимую основу и видимость обыденной «истины, которая известна давно» [12], оставляя у поэта чувство досады на отсутствие взаимопонимания в своей среде. Отсюда и заклинание:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...
(III, 424)

и горькое:

зависеть от властей, зависеть от народа –
Не все ли нам равно? Бог с ними.
(III, 420)

Точки соприкосновения с народным мироощущением, столь явно проявившиеся во время михайловской ссылки, были существеннее позднейших разочарований. Сатирическое, насмешливое отношение Пушкина к теме загробных страданий, явное предпочтение личной ответственности здесь, наиболее близко народному мировоззрению и восприятию смерти, отмечаемое еще греками времен Олега и Святослава. «Племя, которому не больно умирать»* приняло поэзию Пушкина за выражение национальной идеи, а самого поэта – как героя, умершего за народ [20, С.33]. Перевод европейского гуманизма с его барочным жизнелюбием на национальную почву «покоя и воли», с привычкой русского человека помнить о «смерти неизбежной» [12], и делает Пушкина основоположником русской культуры.

Миллер писал: «заслуги Пушкина для русской этнографии несомненны; мы можем сказать это без всякого преувеличения, не впадая в панегирик. Успехи науки вызываются не одними специ-

* Петrarка – эпитафия к шестой главе «Евгения Онегина».



альными учеными трудами. Будущие ученые специалисты нередко определяли свою дорогу под влиянием возбуждения, полученного от людей, вовсе не принадлежащих науке, мало подготовленных, но умевших влиять на других. Такой властной, гениальной, обаятельной натурой обладал Пушкин» [21]. Великолепная, последующая школа русской этнографии XIX-XX веков – лучшее подтверждение этому.

ЛИТЕРАТУРА

1. Миллер В. Пушкин, как поэт этнограф. – М., 1899.
2. Вернадский Г.В. Пушкин, как историк / Ученые записки. – Т.1. – Вып. II. – Прага, 1924.
3. Виноградов В.В. Стиль Пушкина. – М., Наука, 1999. – С.116.
4. Зайцев К.И. Пушкин как учитель жизни / Пушкин и его время. – М., 1997. – С.433.
5. Флоренский П.А. Оправдание Космоса. – СПб., 1998. – С.43.
6. Пушкин в воспоминаниях современников. – М., 1974. Т.1. – С. 78.
7. Багно В.Е. Порок и смерть язвят единым жалом / Ежеквартальник русской филологии и культуры, 1996, № 3. С.146
8. Жозеф де Местр. Санкт – Петербургские вечера. – СПб., 1998. – С.251.
9. Кант И. Избранные труды. – М., 1996. Т.1.
10. Лотман Ю.М. «Евгений Онегин». Комментарий. – Л., 1983. – С.260.
11. Кошелев В.А. Пушкин: история и предания. – СПб., 2000.
12. Павлищев Л. Воспоминания об А.С.Пушкине. – М., 1890.
13. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1989. Т.3. – С.90.
14. Пуцин. И.И.Записки о Пушкине и письма. – М., 1925. – С.98.
15. Кошелев В. А. Первая книга Пушкина. – Томск, 1997. – С.131.
16. Томашевский Б.В. Пушкин, кн. 1. – М.-Л., 1956. – С.338.
17. Белоусов А.Ф. Стихотворение А.С.Пушкина «Зимний вечер». Материалы для учителя. – Таллин. – С.1988.
18. Историко-этнографические очерки псковского края. – Псков, 1999. – С.92.
19. Иванов В.В. Топоров В.Н. К реконструкции Мокоши как женского персонажа в славянской версии основного мифа. / Сб. Балтославянские связи. – Л., 1998.
20. Анненкова А.А. Отражение личности А.С.Пушкина в народном сознании / Пушкин и современная культура. – М., Наука. 1996. – С.188.
21. Миллер В. Пушкин, как поэт-этнограф. – М., 1899. – С.54.





Н.Л. ВЕРШИНИНА

*доктор филологических наук, зав. кафедрой литературы,
Исковский педагогический институт*

Пушкинская традиция в лирике Н.А. Некрасова (поэтика «возможного сюжета»)

В содержательной статье «О реальном и возможном сюжете («Евгений Онегин»)» С.Г.Бочаров ставит проблему творческого бытования «как бы недооволенной, не вполне еще завершенной» повествовательной структуры. Материалом изучения, конечно, не случайно является роман «Евгений Онегин»: именно в романе, и притом в романе «свободном», «как бы незачеркнутыми» остаются «многие и многие возможности судьбы героев» – «черновые варианты самой жизни», вероятностную логику которых закрепляет, в персонифицированном выражении, литература [1, С.16].

Однако, проекции «возможного сюжета» играют структурообразующую роль не только в роде эпическом, но и в лирике (может быть, они и проявляют-то себя в высокой степени в произведении Пушкина потому, что перед нами «не роман, а роман в стихах»). В поэзии Некрасова (особенно, повествовательной ее ветви) «свобода» словно удваивается, питаемая соположением двух универсализующих родов и выступая на их стыке: «на границе эпоса и лирики» (М.Н. Бойко). Характерно некрасовским является феномен взаимопроникновения лирики и эпоса: он ведет как к эффекту романной «панорамности», так и психологической, лирической неисчерпаемости. Лирика становится эквивалентной родовой содержательности, «замещаая» иногда культурные эпосы и «реализуя» их потенциальные возможности в новом окружении, на новых онтологических уровнях.

Убедительным свидетельством пристального внимания Некрасова к пушкинской традиции и формам ее бытования в позднейшую эпоху является подтверждаемая лирическими текстами тенденция постоянно «сверять» свое мировосприятие с пушкинским, соизмеряя средства образного выражения в собственной лирике с поэтикой «возможного сюжета», развернутой Пушкиным в «Евгении Онегине». Для Некрасова не прошло бесследно то, что Пуш-

кин «развернул» многообразие возможных лирических смыслов уже в «Посвящении» П.А. Плетневу:

Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных...

Панорамность жизни, очерченная поэтом, учитывалась Некрасовым применительно к разным душевным состояниям и периодам собственной жизни – как гипотетические, не совпадающие со своей реализацией, но уже достигнутые в ней «по Пушкину» бытийные возможности.

Причастность к Пушкину в ранней лирике очевидна, например, в стихотворении «Разговор» (1839). Употребленная Некрасовым словесная формула узнаваема без всяких усилий. Поэтому и все последующее воспринимается в одном лишь «пушкинском» и преимущественно «онегинском» ключе:

Люблю житейское волнение,
И чинный бал, и гул глухой
На беспорядочной пирушке.
Люблю повздорить со старушкой,
Затеять дружбу с молодой... [2].*

Более всего здесь воспроизводятся «онегинская» интонация, лирическое движение темы Автора. Сравним:

Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманый наряд...
(«Е.О.», гл. I, строфа XXX).

То же относится и к восьмой главе романа, где выведен широкий спектр возможностей, доступных пушкинской Музе, что опосредованно отразилось и в стихотворении Некрасова. Поэтически неисчислимы вариации действительности представлены в «Разговоре» с поистине пушкинским упоением:

По мне – на шумном пире света
Нам много радости дано.
Есть упоенье в сне мятежном,
В похвальных отзывах толпы,

* В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы в скобках.

В труде, в недуге неизбежном,
В грозе и милости судьбы;
Есть ушоенье в вихре танца,
В игре, обеде и вине
И в краске робкого румянца
Любимой девы при луне...
(1. 269).

Н.Н. Мостовская и Ф.Я. Прийма справедливо указывали на соотнесенность отдельных строк с «Пиром во время чумы», но в целом «пушкинское» начало стихотворения в своем энциклопедизме явно восходит к «Онегину» [3-5].

Соизмеримы, однако, не только авторская лирическая «свобода» Пушкина и Некрасова, но и ее границы, сам принцип необходимого ограничения. Если в «Онегине» «свобода» мыслилась в постоянном соотношении с романом фабулой, с телеологическими пределами сюжета, зависящего от воли автора, то личная «свобода» лирического «я» Некрасова также осуществляет себя в границах – в реальной обусловленности обстоятельствами судьбы поэта, переосмысленными нередко при помощи пушкинской традиции.

Онегинская метафора жизни как романа реализуется молодым поэтом применительно к себе, в проекции на дело житнетворчества. У Пушкина:

И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал.
(«Е.О.», гл. 8, строфа L).

Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.
«Отрывки из путешествия Онегина».

У Некрасова в стихотворении «Мелодия» (1840):

Горя в чашу радостей жизни поэтической
Не было подмешано;
От очей мечтателя дымкой фантастической
Даль была завешена...
(1, 276).

Своего рода наложение идеальной содержательности бытия, представленной в «Онегине», на бытовую и далеко не идеальный



пласт, взятый из современности Некрасова, приводит к ироническому зазору, где элегическое сожаление о несбывшемся соседствует с нравописанием и социальной сатирой. В то же время некрасовская ориентация на Пушкина глубже и значительнее – ее не исчерпывает, даже в юношеской лирике, контраст сущности и идеала. Так, стилизация собственной жизни по образцу «дня Онегина» первой главы романа имеет в «газетном фельетоне» «Новости» (1845) морально-философскую мотивацию, эхообразную по отношению к художественному сплаву романа в целом. Приобщение к нему Некрасова одновременно и эстетизирует жизнь в ее повседневности, просветляет ее высшим смыслом, и дает дополнительное развитие иронии самой действительности, заложенной в изображении Онегина. В итоге все противоречия сходятся в единстве романа-жизни, единстве, лишенном однозначности и дидактического пафоса.

Между выдержанными в сатирическом тоне фельетонными сообщениями звучит поверяемый лирическим пушкинским голосом голос автора – грустно иронизирующего над собой поэта:

О, скучен день и долог вечер наш!
Однообразны месяцы и годы,
Обеды, карты, дребезжанье чаш,
Визиты, поздравленья и разводы –
Вот наша жизнь. Ее постылый шум
С привычным равнодушьем ухо внемлет,
И в действии пустом кипящий ум
Суров и сух, а сердце глухо дремлет;
И свыкшись с положением таким,
Другого мы как будто не хотим,
Возможность исключений отвергаем
И, словно по профессии, зеваем...
Но – скучны отступленья!..

(1, 26).

Лирикоэпическая структура «Онегина» воспроизводится Некрасовым в «Прекрасной партии» (1852): сферы бытия героя, о котором ведется повествование, и автора, переключающего внимание на свои «заветные мечты», находятся в тесном переплетении. Так, ироническая зарисовка «гвардейского офицера» в театре плавно переходит в область авторских впечатлений, подымаясь затем до

высокого лиризма. В «Евгении Онегине» это переходы от изображения героя:

Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру...
(«Е.О.», гл. 1, строфа XVII).

– к поэтизации театра, его прошлого и настоящего «в лицах»: Фонвизин, Княжнин, Катенин, Шаховской; далее – к лирическому размышлению о «богинях» прежних лет с высвеченным крупным планом портретом Истоминой. В «Прекрасной партии» о «воителе чернооком» сказано:

Но он всему предпочитал
Театр Александрынский.
(1, 108).

В параллель пушкинскому кругу знаменитых драматургов названы Н.Кукольник и Ф.Кони:

Здесь пищи он искал уму,
Отхлопывал ладони,
И были по сердцу ему
И Кукольник и Кони.
(1, 108).

Истомину заменяет Сюзета:

И вдруг влетела, как зефир,
Воздушная Сюзета –
Тогда он забывал весь мир,
Вникая в смысл куплета.

Следил за нею чуть дыша,
Не отрывая взора,
Казалось, вылетит душа
С его возгласом: «Фора!»
(1, 108).

Но «поэзия души», связанная с темой искусства, не исчезает – она жива, и это доказано по-пушкински интимным отступлением «в сторону», не только от сатирического рассказа, но, отчасти, и от темы:

Но ты, к кому души моей
Летят воспоминанья,
Я бескорыстней и светлей
Не видывал созданья!

Блестящ и краток был твой путь...
Но я на эту тему
Вам напишу когда-нибудь
Особую поэму...
(1, 109).

Сравним в «Онегине»:

А та, с которой образован
Татьяны милый Идеал...
О много, много Рок отъял!
(«Е.О.», гл. 8, строфа LI)

Конкретность воспоминания, связанного с безвременно умершей В.П. Асенковой, не исключает, а, напротив, предполагает фрагментарность отступлений, их потаенность и загадочность. По-пушкински звучит и обещание Некрасова читателю «когда-нибудь» написать «особую поэму...». У Пушкина очень сходно звучало «обещание» создать «роман на старый лад», когда наступит эпоха «смирненной прозы» («Е.О.», гл. 3, строфа XIII).

Осуществляемый Некрасовым перенос отдельных мотивов и даже фрагментов романа на себя и свою жизнь, свои переживания, рождает смежные конструкции, в которых стилизацию трудно отличить от авторского самовыражения. «Лирические предисылки» (С.Г. Бочаров) событий и героев в пушкинском произведении воспринимаются и художественно пересоздаются Некрасовым как собственные полноценные лирические темы, которые хранят в себе, однако, «знаки» Пушкина.

В стихотворении «Зачем меня на части рвете...» (1867) интимной темой переживаний поэта становится художественное содержание, которое Пушкин наметил в теме «двух путей» Ленского («Е.О.», гл. 6, строфы XXXVII; XXXVIII. XXXIX). Лирический герой Некрасова ощущает себя словно между этими путями:

Я жить в позоре не хочу,
Но умереть за что – не знаю.

В то же время первый, героический путь Ленского осознается как уже пройденный в мечтах и недостижимый в реальности. К реальности ведет второй, также не воплощенный в «романе в стихах» путь Ленского: «Узнал бы жизнь на самом деле...». Оба пути очерчены Некрасовым как возможности личной жизни и судьбы, скорректированные исторической и нравственной необходимостью:



Блажен, кто в юности слепой
Погорячится и с размаху
Положит голову на плаху...
Но кто, пощаженный судьбой,
Узнает жизнь, тому дороги
И к честной смерти не найти.
(3, 44).

Возможности, заложенные в поэзии Некрасова, ведут в двух направлениях – лирики и романной структуры, и потому объективно восходят к поэзии Пушкина. В итоге лирика Некрасова приобретает особый статус: «Реальность громадно расширена прибавлением к наличной действительности целого сонма возможностей» [1, С.19].

ЛИТЕРАТУРА

1. Бочаров С.Г. О реальном и возможном сюжете («Евгений Онегин») // *Динамическая поэтика: От замысла к воплощению*. – М., Наука, 1990.
2. Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. В 15 тт. Т.1. – Л., Наука, 1981. – С.267-268.
3. Мостовская Н.Н. «Пушкинское» в творчестве Некрасова // *Проблемы современного пушкиноведения. Межвузовский сб. науч. трудов*. – Псков, ПГПИ, 1991. – С.178.
4. Прийма Ф.Я. Некрасов и Пушкин // *Некрасов и русская литература*. – Л., Наука, 1987. – С.110.



Е.Н. ЧЕРНОЗЕМОВА

*доктор филологических наук, профессор,
Московский государственный педагогический университет*

**«Министр иностранных дел на
Парнасе русской словесности» в творческом
взаимодействии с английской культурой**

Известно, что Пушкин называл себя в шутку «министром иностранных дел на Парнасе русской словесности». Между тем, в таком самонаименовании, как и в любой другой пушкинской шутке, есть изрядная доля истины. Действительно, Пушкин, с одной стороны, одним из первых вывел русскую литературу на европейское пространство. По словам Ф.М. Достоевского, именно он создал русские характеры, которые стали известны европейскому читателю. С другой стороны, как заботливый и мудрый министр иностранных дел, именно Пушкин ввел в русскую литературу вечные литературные образы европейской культуры, тщательно отбирая материал, придавая ему русское звучание. Вступая в творческий спор с европейскими писателями, он по-своему разработал предложенные ими темы.

При этом Пушкин отстаивал своеобразие собственного пути в русской культуре в ее отношении к Слову. Для того чтобы понять, в чем состоит эта особенность, обратим внимание на логику пути развития русской литературы. В то время, как европейская литература пережила период Возрождения – этап узаконенной игры словом, осознававшей себя как доблесть, – и пришла к пониманию того, что сакральное отношение к слову – не дикость, а мудрость, – в России продолжало сохраняться высокое, духовное, христианское отношение к Слову, как к явлению священному, данному Богом, отношение, отвергающее возможность игры со Словом; в России трудно приживалась легкая изящная словесность. Слово было или овеяно традицией духовной письменности или тяжеловесно-площадной народной оценочностью. Посметь сказать свое авторское слово по-прежнему решались немногие, потому, что свидетельству путешественника и историографа XVII века



Самуэля Пуфендорфа (1632-1694) «читать и писать у русских считалось величайшим искусством». В XVII веке Россия мучительно искала общее культурное пространство, в котором сошлись бы и начали взаимодействовать духовная и светская традиции. И может быть сама длительность и тщательность, с которой велся этот поиск, и послужили основой тому бурному всплеску развития русской словесности, который произошел в начале XIX века и повлиял на все, что происходило в дальнейшем.

Разница в истории того, как формировалось русское и европейское отношение к Слову сказывается и сегодня. Писатели и поэты, играющие со словом, желанны, востребованы русским читателем и слушателем, но редко относимы даже в массовом сознании к творцам великой, большой русской литературы. Представители западной культуры сегодня не понимают своеобразия русского отношения к Слову. Считают чудачеством то, что русские придают литературе какое-то особое, для западного человека непостижимое значение, некий высший смысл, между тем, как западными издателями, а зачастую и авторами, литература – как чтение, так и писательство – воспринимается и осознается лишь как один из видов досуга.

Отстаивая собственный и неповторимый путь в развитии русской литературы, Пушкин отмечал своеобразие и трудности этого пути. Он указывал, к примеру, на то, что русская литература не прошла огромной школы письма, работы с формой, которая проделана литературой западной. В итоге, продолжим от себя, не состоялось, например, такое явление, как русский сонет. Хотя одноименный сборник опубликован сегодня, мы должны признать, что русский сонет принципиально отличен от западного, прошедшего путь многовекового становления, и, прежде всего, по качеству слова. Западное сонетное слово, теория которого разработана в работах профессора И.О. Шайтанова [1, 2], отличающееся актуализированными скрытыми смыслами, напряженностью, эмоциональной и смысловой насыщенностью, возникает только в системе сравнений, выраставшей из изначального глобального средневекового сравнения «что на небе, то и на земле». В русских сонетах возможно отыскать множество достоинств, кроме развернутой системы сравнений, которая и составляет сущность сонетного жанра. Современный переводчик английских сонетов, не осознающий



принципиального различия в состоянии литературных языков и культур да еще и находящийся в колоссальной временной дистанции от переводимого, не добивается высокого успеха.

Сетования на отсутствие школы письма содержатся в пушкинской заметке «О скудости литературы нашей», где в числе других потерь поэт указывал на отсутствие духа рыцарства в истории русской культуры и на невыработанность метафизического языка, то есть на неумение говорить о духовных явлениях языком светским, понятным и принимаемым нецерковными людьми. Если соотнести это положение с тем, что в пушкинской статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая» (1834) в цитируемом Пушкиным эпизоде из Гюго упоминается имя Донна (Кромвель снисходительно называл Мильтона великим теологом и хорошим стихотворцем, хотя и пониже Донна) – английского поэта, стоявшего у истоков метафизической поэзии, можно предположить, что выработку языка метафизического Пушкин не мог посчитать для себя сверхзадачей, проживи он дольше. Решение этой сложнейшей сверхзадачи стоит на повестке дня и сегодня. Свой вклад в ее решение – в развитие русского метафизического языка – внес Иосиф Бродский, который для соотечественников и современников остается фигурой столь же непознанной, как и Джон Донн. Продолжи свою деятельность «министр иностранных дел на Парнасе русской словесности», может быть быстрее и проще входила бы в русскую культуру поэзия Джона Донна.

Этот ход разговора в сослагательном наклонении выбран сегодня неслучайно. Можно показать вклад «министра иностранных дел» в развитие русской словесности, рассмотрев своеобразие созданных им образов – реминисценций из Шекспира, Байрона, Вордсворта, имена которых, безусловно, составят первый ряд при исследовании проблемы «Пушкин и английские поэты». Но не менее интересно и плодотворно рассмотреть имена тех английских авторов, которые упоминались в пушкинских заметках, статьях, дневниках, но в силу тех или иных причин не успели оказаться введенными им в полной мере в русскую культуру. Разговор о том, как трудно входят в русскую культуру писатели, считающиеся в европейских странах хрестоматийными, лишь потому что ушел рано, с особой силой дать понять, что потеряла с его уходом рус-



ская культура. Не менее интересным для обсуждения оказывается ряд Донн – Мильтон – Поуп.

Обсуждение вхождения творчества этих авторов в русскую культуру помогают высветить и еще один интересный и важный вопрос – почему при срединном положении между Востоком и Западом русский человек чувствует свою сориентированность на Запад, хотя ряд произведений, считающихся в западном мире хрестоматийными, остались так и не освоенными, невостребованными русской культурой. За гранью русского видения оказываются произведения, которые в западной культуре являются широко читаемыми. Их тиражи сопоставимы с тиражами Библии. К их числу относится поэзия и проповеди Джона Донна, трудно входящие в русскую культуру и во многом остающиеся непереуведенными. Анализ того, как происходило их освоение, содержится и в большой статье И.О. Шайтанова «Донн и Бродский: уравнение с двумя неизвестными» [3] и выпущенного под редакцией этого же исследователя выпуска №8 альманаха «Anglistica» [4]. К числу подобных же произведений относится «Путь паломника» Джона Беньяна [5] и «Потерянный рай» Джона Мильтона [6]. Оба произведения переводились на русский язык, но не стали достоянием широкой читающей публики. Вписывающиеся в один ряд с «Божественной комедией» Данте и «Фаустом» Гете, они не становятся материалом хрестоматий и школьных учебников, оттого ли, что более непреложно утверждают власть Бога над Человеком, то ли оттого, что содержат нечто, неприемлемое для русского строя чувств и мыслей. Может быть, попытки ответа на вопрос о том, почему эти произведения остаются невмонтированными в русскую культуру, помогут понять, чем же русская культура принципиально отличается от европейской.

Таким образом, раскрытие пушкинской метафоры «министр иностранных дел на Парнасе русской словесности» приводит нас к выявлению и осмыслению своеобразия русского самосознания. И здесь важно выделить еще один вид деятельности «министра иностранных дел» нашей словесности, а именно: проследить его словесную работу над ключевыми понятиями культуры и эпохи. Для того чтобы уловить своеобразие той или иной культуры, особенности национального взгляда на мир, выделяют так называемые *ключевые слова* – наиболее важные для культуры понятия, традируемые из языка в язык, которые образуют семантические гнезда,



нередко сложносоставные и пересекающиеся с иными родственными. К их числу относятся такие понятия как *природа*, *логос*, *эйдос*, *идея*, и в полной мере может быть причислено понимание человеческого *достоинства*, обретающее разное наполнение в различные эпохи. Как русский человек воспринимает Природу, относится к Знанию, понимает человеческое достоинство? О том, как происходит поэтическое открытие *Природы* русской литературой в ее ориентации на западную традицию, написаны книги И.О. Шайтанова [7, 8]. Остановимся специально на том, как в русском сознании формируется понятие человеческого *достоинства* и какую роль в этом становлении играет творчество А.С. Пушкина.

Определение человеком своего места в жизни и размышления о том, что значит сделать человеком *достойным*, стало одним из скрытых обобщающих сюжетов, позволяющих оттенить своеобразие жанровой формы или модификации конкретного произведения, то есть сложилось в один из «*магистральных сюжетов*» мировой литературы.

В традициях христианской культуры человеческое достоинство традиционно испытывалось **Властью, Любовью и Знанием**. Именно эти три начала лежали в основе мироздания и составляли божественное триединство, по Данте: *divina potestate* – *Высшая Власть* Бога-отца, *somma sapienza* – в переводе М. Лозинского, «*полнота Всезнания*» Бога-сына и *primo amore* – *Первая Любовь* Святого Духа [9], что было запечатлено в знаменитой надписи на вратах Ада*.

Ренессансный взгляд на человека как на воплощение божественных начал предполагал, что в нем должно быть заложено каждое из них. Человек *достойный, доблестный* должен был стремиться к тому, чтобы эти начала соединялись в нем, не соперничая, а подкрепляя друг друга. Если одно из начал становилось в человеке доминирующим или абсолютизировалось им, то это либо делало человека смешным, либо приводило к трагедии.

В стремлении к **Власти, Знанию и Любви** важно было знать или чувствовать *меру* в ее ренессансном, связанном с понятием гармонии и грации смысле. Земным испытанием человека была способность его добиться гармоничного сочетания всех трех начал и устремлений, подобно тому, как они сочетались в Божестве.

* Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. М. Лозинского. М., 1992. С.17.



Многие произведения мировой литературы демонстрировали невозможность гармоничного сочетания в человеке достойного отношения к этим трем началам. Между тем, к такому их органичному сочетанию должен был стремиться, по ренессансным представлениям, доблестный человек, так как достигнув этого, он только и мог претендовать на звание человека достойного.

Такое воззрение стало надличностным. Неважно, дает себе наш современник и соотечественник отчет в том, что он является продуктом христианской культуры или нет. Показательно, что вышедшая недавно на русском языке книга «Воля к Истине» ярчайшего деконструктивиста Мишеля Фуко, стремящегося разрушить любые конструкции и построения традиционного мышления, пытающегося ощутить себя вне какого-либо мифа, имеет подзаголовок «По ту сторону знания, власти и сексуальности». Так современный «бурный гений» оказывается персонажем древнего библейского мифа.

В этом мифе ощущает себя любой человек, стремящийся к обретению достоинства, несмотря на конфессиональную принадлежность, – и православный, и католик, и протестант. И все же дать себе отчет в том, как в русскую культуру и сознание входит подобный образ мышления, отнюдь нелишне.

То, как русская культура включилась в разработку европейского понимания достоинства и чести, возможно проследить на примере того, как магистральные сюжеты мировой литературы, которыми являются испытания человека Властью, Знанием и Любовью, входили в литературу русскую. Вхождение это было обеспечено во многом творчеством А.С. Пушкина. Именно он вводит в русскую литературу вечные литературные образы *Дона Жуана* в «Каменном госте» и тему испытания человека *Любовью*, образы *Фауста* и *Мефистофеля* в «Сцене из Фауста» и тему испытания человека *Знанием* и разрабатывает тему испытания человека *Властью* в «Борисе Годунове»^{*}. Русский вариант разработки темы оказывается многозначнее европейского. В нем актуализируется

* О своеобразии разработки тем человеческого достоинства Пушкиным см.: Черноземова Е.Н. Пушкинское слово // Новая эпоха: Проблемы. Поиски. Исследования. 1999. №2. С.20-31. Черноземова Е.Н. Пушкин и мировая литература (О правомерности постановки вопроса «Нужен ли Пушкин западноевропейской культуре?» Тезисы // Всемирная литература в контексте культуры. XI Пуришевские чтения. Сборник статей и материалов. Часть 1. М., 1999. С. 3-5.



неразличимая для ума грань между Добром и Злом, которую можно почувствовать лишь душой и сердцем. Русский пушкинский Жуан оказывается более чистым и праведным, чем европейский. Он искренне любит каждую женщину, прошедшую через его жизнь, готов заступиться за каждую. К тому же А.С. Пушкин завершает свое произведение, разрабатывающее тему испытания человека *Любовью*, амбивалентно. Его финал может быть прочитан и как заступничество сил

Света за чистоту героини, и как вмешательство сил Тьмы, не позволяющих Дону Гуану пережить духовное возрождение в истинной любви. Та же амбивалентность оказывается уловленной и воспроизведенной в «Сцене из Фауста».

Гете, воспринимая Зло оборотной стороной Добра, видимо, под влиянием знакомства с культурой Востока, признавая их взаимосвязь и взаимодействие друг с другом, провел свой персонаж через множество испытаний, но не обрек его на проигрыш. Спор о Человеке в его интерпретации оказался выигранным. Финал «Фауста» Гете представляет собой ситуацию в высшей мере амбивалентную. Постаревший и ослепший Фауст принимает стук лопат могильщиков и звук падающей земли за признаки ведущихся осушительных меллиоративных работ.

Ничтожен или велик слепой старец, восторгающийся тем, чего не было и нет на самом деле? Гете со всей отчетливостью показал, что уровень человека определяет качество его мечты. Существенным оказывается то, чем грезит Фауст. Вслед за Шекспиром Гете утверждает, что мечты человека, то, что он думает о мире, не менее важны и значимы чем то, что происходит объективно. Два мира – материальный и духовный – равнозначны лишь с той разницей, что над внутренним миром человека никто не властен. Зло не может туда проникнуть помимо его собственной воли.

В произведениях английской литературы понятие «достоинства» и «чести» выражаются словами *virtue*, *honour* и *grace*. Посмотрим на значения этих слов и на особенности их употребления в произведениях английской литературы.

Слово *virtue*, восходящее в итальянскому *virtu* – содержащегося в современном русском слове *виртуоз*, – настаивает, прежде всего, на том, что хотя бы в одном из видов деятельности достойный человек должен быть совершенным. К тому же прямое значе-



ние этого слова – *чистота*, девственность. Здесь вспоминается требования к обладателю Грааля: никогда не нарушать никаких правил кодекса чести. Слово *virtue* чаще всего функционирует в трагедиях в самом высоком смысле. Интересно, что Джон Донн писал это слово как *virtue* с корнем *-veg-, который содержится в современном русском слове вербальный – словесный, в английском слове verb – глагол, которое в свою очередь, по наблюдениям М.М. Маковского, является однокоренным с лексемой -word- слово, в слове *Univegse* -Вселенная, иллюстрирующем положение о творении мира из Слова, а также совместно с корнем *-men-, обозначающем движение, участвует в образовании слова время (*-veg- + *-men-). Таким образом, лексема *время* имеет семантическое значение *слово, находящееся в движении*, а носитель *virtue*, видимо, прежде всего, должен осознавать себя носителем Слова и понимать, что живя во *времени* – то есть в продолжающем свое становление Слове, словом он продолжает творить мир.

В русском языке, по наблюдению историка языка из Санкт-Петербурга В.В. Колосова для обозначения эпического достоинства человека изначально существовало слово *благочестие*, указывающее, прежде всего, на служение достойного человека высшему. Слово вполне соотносимо с понятием *virtue*. Затем с ходом времени, движением понятий часть *благо* отпала, и слово стало означать новое представление о достоинстве, теперь понимаемом как дань сословному, сиюминутному, а отнюдь не высокому. Слово *честь* соотносимо с английским словом *honour*, которое могло бы войти и как *гонор* – защита личного интереса, но в этой огласовке слово оказалось слишком оценочно окрашенным. Лексема *honour* употребляется в драматичных, конфликтных. Это качество человек обретает не от природы и не путем работы над собой. *Честь* – понятие не только личностное. но и сословное, сохраняющее средневековое эпическое чувство принадлежности к роду и желания его защищать, хотя с течением веков понятие обретает и личностный смысл, человек может защищать свою личную честь.

Обратим внимание на то, что в русском языке однокоренными словами являются *честь* и *честный*. Для русского человека, по наблюдению В.В. Колосова, противопоставлены понятия *честь* и *совесть*. *Честь* остается понятием корпоративным, *совесть* – личным, внутренним, глубоким, обеспечивающим гармонию и лад.

Различается *честность с другими* и *честность с собой*. Русский человек стремится к *святости*, а не к *честности*.

Этот же союз с высшим даром запечатлевает понятие *grace*, созвучное с русским *грация*, имеющее значение *быть любезным, желанным, обладать привлекательностью, достоинствами*. В эстетике именно этим словом обозначают то неповторимое и неумовленное очарование, которым обладает истинное произведение искусства. Истории термина посвящена специальная большая работа М.П. Алексеева, выстроенная как комментарий к «Аналізу красоты» Хогарта. Как этическая характеристика, *grace* встречается чаще в комедиях, в произведениях, более близких к пасторалям по своей тональности, то есть в тех, где вроде бы вовсе отсутствует Зло. В трактатах по этике утверждается, что этому свойству (*быть грациозным*) нельзя научить, но ему можно научиться, наблюдая, думая, сопоставляя. Таким образом, обретение такого достоинства сопрягалось с быстрым умом (или в терминологии века XVI с острым умом). Понимание понятия углубляется, если взять во внимание, что в английском языке есть устойчивое выражение *grace of God*, обозначающее *милость Божью* или *дар Божий*. Таким образом, способность быть очаровательным дается от природы. В трагедиях слово употребляется в словосочетании *Your Grace*. обращенном к монарху – *Ваша Честь*.

Для того чтобы найти соответствие европейскому понятию *grace*, невозможно ограничиться созвучным ему словом *грация*. В.В. Колосов обращает здесь внимание на не вошедшее в широкое употребление, но точно найденное Пушкиным слово *самостоянье* – «*самостоянье человека, залог величия его*».

Судьба русского языка и сознания, русской ментальности – строя мысли и чувства, – более подробно и основательно рассмотрена в специальной работе В.В. Колесова [10]. Материалы, приведенные в книге В.В. Колесова, показали нам настолько важными для раскрываемой темы, что мы посчитали возможным привести развернутую большую цитату с примерами, по-своему графически выделив и расположив примеры и доказательства: «Разрушение национально русских двоичных выражений (восходят к речевым формулам, в том числе и евангельским) типа радость и веселье, горе не беда, стыд и срам, честь и слава, мир и согласие, любовь да ласка, совет да любовь и сотен других происходило путем заме-



ны их церковно-славянизмами, включавшими в себя семантику обоих компонентов и способствовавших повышению уровня отвлеченности:

стыд и срам > совесть,
радость и веселье > торжество,
горе не беда > скорбь и пр.

Устранение высокого стиля вызвало соответствующую замену калькированными (сознательность от *conscientia* на месте совести) или прямыми заимствованиями:

торжество > фестиваль,
скорбь > трагедия,
собрание > форум,
соборность > коллектив,
достоинство > престиж и пр.

Усреднение ментальности до basic-раши прямым образом связано с нарушением национальной формы сознания через разрушение системы русских слов. Семантическое пространство русского сознания поддается коррозии в той мере, в какой внедряется в подсознание «простого человека», не обладающего необходимой суммой знания, чтобы противостоять этому тихому давлению на его духовность. Конечно, самому языку это ничем не грозит, поскольку он развивается и совершенствуется помимо наших желаний и ухищрений власти. Не мы существуем в языке, но язык – живет в нас, и наша обязанность соответствовать высокому духу и смыслу завещанного предками Логоса. **Но деятели культуры в создавшихся условиях непременно должны показывать все издержки пути, на который вступили все мы, не защищаясь от нашествия иноплеменных».** (Выделено мною – Е.Ч.)

Это заключительное восклицание собственно и означает, что на Парнасе русской словесности нет министра иностранных дел, который бы с пушкинским чувством меры, глубочайшей продуманностью и ответственностью выполнял всю ту высочайшей сложности работу, которую проделывал Пушкин.



ЛИТЕРАТУРА

1. Шайтанов И.О. Жанровое слово у Бахтина и формалистов // Вопросы литературы. 1996. №3. С.89-114.
2. Шайтанов И.О. Критика об У. Шекспире // Шекспир У. Пьесы. Соперники: Книга для ученика и учителя. – М., 1997. – С.686-693.
3. Шайтанов И.О. Донн и Бродский: уравнение с двумя неизвестными // Вопросы литературы. 1998. №6.
4. «Anglistica»: Сборник статей по литературе и культуре Великобритании. Выпуск № 8. М., 1997. (Джон Донн и проблема «метафизического» стиля).
5. «Anglistica»: Сборник статей по литературе и культуре Великобритании. Выпуск №6. М., 1998.
6. «Anglistica»: Сборник статей по литературе и культуре Великобритании. Выпуск №5. М., 1997. (Жанр и слово в английской поэзии).
7. Шайтанов И.О. Мыслящая муза: «Открытие природы» в поэзии XVIII века. – М., 1989.
8. Шайтанов И.О. Федор Иванович Тютчев: поэтическое открытие природы. – М., 1998.
9. Лозинский М. Комментарии // Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. М. Лозинского. – М., 1992. – С.516.
10. Колесов В.В. Жизнь происходит от Слова. – М., 2000.



С.И. КОРМИЛОВ

*доктор филологических наук, профессор,
Московский государственный университет*

О теоретико-литературных представлениях Пушкина

К теории литературы, поэтике Пушкин относился, можно сказать, равнодушно и даже пренебрежительно. Учили его по классицистической поэтике, в художественной практике он классицистическую традицию быстро перерос, отсюда и равнодушие к формулируемым правилам, строгим понятийным определениям. Вяземскому, считавшему Озерова романтическим поэтом из-за мечтательного монолога Фингала, Пушкин возражал 6 февраля 1823 года: «<...> но вся трагедия написана по всем правилам парнасского православия; а романтический трагик принимает за правило одно вдохновение <...>». * В послании «К Родзянке» (1825) Пушкин высказался о романтизме как «о сем парнасском афеизме» (II, 237), то есть неверии в поэтический «закон». Насчет литературоведческих понятий он писал 4 февраля 1832 года И.В.Киреевскому: «Избегайте ученых терминов; и старайтесь их переводить, то есть перефразировать: это будет и приятно неучам и полезно нашему младенчеству языку» (X, 313). Очевидно, что существовавшая терминология Пушкина не устраивала, он предпочитал ученым терминам простое разъяснение сути дела. Однако теоретико-литературные представления у него, разумеется, были – частично отличные от господствовавших, во многом совпадавшие с ними. Даже не разграничивая пока тех и других (это требует обширных исследований), учитывать литературное самосознание Пушкина необходимо, иначе неизбежны модернизация и искажения его мыслей и, соответственно, искажающие трактовки произведений.

Таких трактовок предостаточно. Сообщил Пушкин П.А.Плетневу 9 декабря 1830 года (после болдинской осени): «Написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется <...>»

* Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1979. Т. X. С. 46. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

(X, 253), – и Л.Магазанник в сборнике «Пушкин и теоретико-литературная мысль» обобщает: «Способность пушкинской прозы вызывать такое бурное веселье сейчас выглядит несколько загадочно» – и свое представление о смеховой природе «Повестей Белкина» переносит на «Пиковую даму» с выводом: «<...> смех Пушкина обнадеживает» (статья «Пиковая дама»: морфология и метафизика больших тропов» [1, С.51-52]). Преувеличение места и роли юмора в первых пушкинских повестях далеко не ново. По убеждению В.И.Тюпы, «он составляет эстетическую константу пушкинского текста», причем литературовед отмечает [2, С.61, 62], что в письме к П.А.Осиповой от 5 ноября 1830 года «Пушкин вспоминает великого юмориста Рабле», карнавальный смех которого на самом деле отнюдь не тождествен оформившемуся исторически позднее юмору.* Ища поддержки у Баратынского и Кюхельбекера, исследователь пишет: «Характеристика Пушкиным читательской реакции первого («ржет и бьется как конь») общеизвестна» [2, С.61]. Общеизвестно, что конь в письме к Плетневу не упоминается, но вставивший его литературовед верно понял, что подразумевается, только выводы из этого сделал неубедительные. Кони ржут (и бьются!) не от веселья, а от того, что застоялись, от нетерпения. Дворяне свой даже самый громкий смех ржанием не называли, это лексика если интеллигента, то советского. По-видимому, Баратынский с огромным нетерпением ждал публикации первых законченных пушкинских произведений в прозе, потому и «бился».

Главный редактор сборника «Пушкин и теоретико-литературная мысль» Ю.Б.Борев, открывая его статьей «Пушкин – наше все (Теоретико-литературные уроки Пушкина)», пишет, например:

* Л.Е.Пинский считал, что до Сервантеса сфера комического ограничивалась низким, собственно смешным. Конец Возрождения показал, что комическим может быть и «лучшее», «благородное». «Дон Кихот» открыл высокий вид юмора (см.: Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961. С. 364), который и имеет в виду В.И. Тюпа [2, С.65], правда, все равно возводящий образ Белкина к традиции шутства: Иван Петрович, «как и положено Пьеро, «лицом был бел». Даже имя, отчество и фамилия этой илюстрации б е л о г о ш у т а , как кажется, не совсем случайны: в состав фамилии входит «бел» <...>» [2, С.70]. Высокоученый теоретик совпадает в характере аргументации с оригинальничавшим дилетантом, доказывавшим тождество Пушкина и Белкина, в частности, тем, что «и «пушная» фамилия несуществующего сочинителя произошла от «Пуш» – первого слова фамилии его создателя. Структура обеих фамилий и второй слог не случайно, давайте думать, одинаковы» (Искрин М. Сочинители, сочиненные Пушкиным // Литературная учеба. 1979. № 6. С.185).

«Что такое «Медный всадник» – поэма, и одновременно маленькая трагедия, и одновременно петербургская повесть» [1, С.4]. Пушкин действительно нестрого различал поэму и повесть в стихах, собрал то, что мы теперь обобщенно называем поэмами, в один сборник – «Поэмы и повести Александра Пушкина» (1835), но все-таки не просто «поэмы», разница для него существовала; а уж «маленькая трагедия» у Ю.Б.Борева – вовсе не в терминологическом значении (объем и драматический жанр), скорее в житейском: с человеком случилась трагедия. Н.В.Драгомирецкая там же («А.С.Пушкин в диалоге-полемике с романтизмом») пишет о романтизме: «На смену классицизму, представляющему огромное эпическое, аристотелевско-державинское, прошлое, пришел век лирики» [1, С.398]. Это доказывается, в частности, цитатой из Вяземского: «Наши времена не эпические» [3]. Но у Вяземского имеется в виду не эпический род, противоположный лирическому, а эпопея как жанр, уже определенно устаревший. Державина автор вспоминает вообще всуе, он-то именно лирик, а не эпик, да и в принципе удач в эпосе классицизм практически не знал, французский же («классический классицизм») проявил себя главным образом в драматургии.

Что касается понятия «лирика», то в пушкинские времена оно, как и в XVIII веке, означало не целиком «субъективный» род поэзии, а только одну его разновидность – воспевающую, прославляющую либо по контрасту, в случае сатирической оды («На выздоровление Лукулла»), высмеивающую. Для Пушкина «роды лирический и элегический» были представлены весьма несходными фигурами Ломоносова и Баратынского, правда, не существовали изолированно от других «родов» («род» – вообще всякая разновидность чего угодно, а не только эпос, лирика или драма): «<...> у нас почти не существует чистая элегия. У древних отличалась она особым стихосложением, но иногда сбивалась на идиллию, иногда входила в трагедию, иногда принимала ход лирический (чему в новейшие времена видим примеры у Гете)» (заметка о стихотворениях Евгения Баратынского 1827 года – VII, 36-37). В «Путешествии В.Л.П.» (1836) различаются те, «которые любят поэзию <...> в ее лирических порывах или в унылом вдохновении элегии» (VII, 297), то есть разграничиваются восторг, порыв и «унылое вдохновение», на порыв не претендующее. Элегическое

смастравяется в разных жанрах – балладах, лиро-эпических поэмах: Жуковский больше не напишет «прелестной элегии 1-ой части «Спящих дев»» (Н.И.Гнедичу 27 сентября 1822 года – X, 39); «Эда» Баратынского – «одно из самых оригинальных произведений элегической поэзии» (рецензия на «Денницу», 1830 – VII, 81); пушкинский «Кавказский пленник» был принят публикой лучше всего остального «благодаря некоторым элегическим и описательным стихам» (опровержение на критике 1830 года – VII, 118).

Ссылаясь на Г.П.Макогоненко, Н.В.Драгомирецкая пишет о Пушкине: «Поэт включил Онегина, с его «хандрой», не подвигами, а «причудами» (!) в высокий «ранг героя» <...>!» [1, С.401]. Здесь не учтены, во-первых, пушкинская ирония, которая потом перешла к Гоголю (читателям, еще не отвыкшим от сугубо возвышенного значения слова «герой», было, по-видимому, очень смешно читать в начале пятой главы «Мертвых душ» о Чичикове, едва не побитом слугами Ноздрева: «Герой наш трухнул, однако ж, порядком»), а во-вторых, все-таки уже дифференцировавшиеся тогда значения слова: в пушкинские времена герой – не только тот, кто совершает подвиги, но и протагонист, главное лицо в отличие от просто «лиц» (персонажей) произведения. Татьяна Ларина воображала себя «героиней / Своих возлюбленных творцов» (V, 52), но Клариса, Юлия, Дельфина подвигов не совершали. 8 декабря 1824 года Пушкин в письме к А.Г.Родзянке отмечал как нечто необычное: «Кстати: Баратынский написал поэму (не прогневайся – про *Чухонку*), и эта чухонка, говорят, чудо как мила. – А я про *Цыганку*; каков? подавай же нам скорее свою *Чупку* – ай да Парнас! ай да героини! ай да честная компания!» (X, 90-91). В *поэмах* должны были быть высокие герои. Позднее, в конце 20-х годов, в заметке о романах Вальтера Скотта Пушкин уже вполне серьезно одобрил Шекспира, Гете, В.Скотта, которые «не имеют холопского пристрастия к королям и героям», в то время как «герои французские» ходят «на холопей, передразнивающих *la dignité et la noblesse*» (VII, 366), то есть достоинство и благородство. Французский классицизм зрелый Пушкин считал слишком буржуазным, недостаточно аристократичным.

В статье В.Д.Сквозникова «Державность миропонимания Пушкина» допущена весьма значимая опечатка: «Создания искусства вдохновенья» [1, С.225] вместо «пред созданнями ис-



куств и вдохновенья» (III, 336). Искусства вдохновенья не бывает. Хотя в «(Из Пиндемонти)» говорится, конечно, о видах художественного творчества («искусства» во множественном числе), при Пушкине слово «искусство» чаще означало опыт и любое умение, отнюдь не только артистическое, а вдохновение – это следствие природной способности и ограниченное во времени озарение. «Деларю слишком гладко, слишком правильно, слишком чопорно пишет для молодого лицеиста. В нем не вижу я ни капли творчества, а много искусства» (П.А.Плетневу, апрель 1831 года – X, 269). «Искусство» здесь, по сути, – грамотное эпигонство, исключяющее творческое вдохновение.

Специалист по советской литературе и критике 20-х годов Л.Ф.Киселева в статье «"Заветы" Пушкина литературоведению» заявляет, что при Пушкине «в западноевропейском искусстве (искусствоведении? – С.К.) термин реализм так или иначе уже фигурировал, и в отношении к русскому он тоже проскакивал» [1, С.443]. У кого из пушкинских современников и куда он проскакивал, не сказано. Ф.Шиллер действительно говорил о «реалистах» и «идеалистах» еще в 1790-е годы («О наивной и сентиментальной поэзии»), но скорее в психологическом плане, чем в искусствоведческом, и вовсе не классикам или романтикам «реалистов» противопоставлял. Как некие универсальные категории понимал «реализм» и «идеализм» также Жан-Поль (И.П.Рихтер), который в 1804 году писал, что «Сервантес, быть может, менее сознательно, чем Шекспир, проводит юмористическую параллель между реализмом и идеализмом, между душой и телом пред ликом бесконечного уравнения <...>» [4]. До сих пор считалось, что из русских первым применил слово «реализм» к литературе П.В.Анненков в «Заметках о русской литературе 1848 года» (1-й номер «Современника» за 1849 год). Если Л.Ф.Киселева открыла более раннее словоупотребление, то обязательно нужно было документировать это открытие.

Л.Ф.Киселева также пишет: «Внимательно вчитываясь в ход пушкинской мысли о романтизме, можно понять, что под «истинным романтизмом» он разумеет – творческую свободу как синоним «высшей смелости: смелости изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию» <...>; «такова смелость Шекспира, Dante, Milton'a, Гете в «Фаусте», Молиера в «Тартюфе» <...>» [1, С.447]. Получается, что высшие художественные достижения для Пушкина возможны только в



достижения для Пушкина возможны только в романтизме. Как ни широко понимал он романтизм, но Мольера к нему все-таки не относил. Если поверить Л.Ф.Киселевой, то высшей смелости, смелости изобретения были лишены в сознании Пушкина все античные поэты, включая Гомера, ведь к классическому «роду» он относил «те стихотворения, коих *формы* известны были грекам и римлянам или коих образцы они нам оставили», а к романтическому – «те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены новыми» («О поэзии классической и романтической», 1825 – VII, 24). Классическая и романтическая поэзия не ограничиваются ближайшими периодами. Ф.Н.Глинка, по Пушкину, «не исповедует ни древнего, ни французского классицизма, он не следует ни готическому, ни новейшему романтизму <...>» (рецензия на его «Карелию, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой», 1830 – VII, 84). Пушкин в 1825 году возражал на мнение Н.А.Полевого, что «в Италии, кроме Dante единственно, не было романтизма. А он в Италии-то и возник. Что ж такое Ариост? а предшественники его, начиная от *Buovo d'Antona* до *Orlando innamorato*?» (X, 118). Французский «лжеклассицизм» он побранивал за жеманство («О поэзии классической и романтической», письмо к издателю «Московского вестника»), и все же Д.П.Святополк-Мирский пусть несколько категорично, но достаточно резонно писал: «К 1818-1820 гг. основа пушкинского поэтического стиля была заложена и уже не менялась до конца. Это французская классическая основа. Самая характерная ее черта – особенно озадачивающая воспитанного на романтизме читателя – полное отсутствие метафор и образов» (разумеется, в узком смысле). Даже в 1820-1823 годах «пушкинский стиль, логический и точный, совершенно полярен байроновской растрепанной риторике» [5].

5 июля 1824 года в письме к Вяземскому Пушкин констатировал: «Век романтизма не настал еще для Франции – Лавинь бьется в старых сетях Аристотеля – он ученик трагика Вольтера, а не природы <...>. Никто более меня не любит прелестного *André Chénier* – но он из классиков классик – от него так и несет древней греческой поэзией» (X, 77). В заметке 1830 года говорится: «Французские критики имеют свое понятие об романтизме. Они относят к нему все произведения, носящие на



себе печать уныния или мечтательности. Иные даже называют романтизмом нелогизм и ошибки грамматические» (VII, 352-353). Но Пушкин признавал существование романтической поэзии во Франции задолго до XIX века: относил к ней Вильона и Марота, то есть Ф.Вийона и К.Маро («О ничтожестве литературы русской», 1834), «ее клеймо» видел на сказках Лафонтена и Вольтера и «Орлеанской деве» последнего («О поэзии классической и романтической»). Все это побуждает признать основанными на недоразумении сетования Л.Ф.Киселевой: «Пушкинское понимание «истинного романтизма» не нашло своего признания и углубленного исследования в литературоведении XX-го века» [1, С.448] – с упоминанием «Мастера и Маргариты» Булгакова и «Доктора Живаго» Пастернака в качестве связующей нити «с пушкинским представлением об «истинном романтизме» в отечественной литературе XX-го века» [1, С.449]. Ни пушкинское, ни даже киселевское понимание «истинного романтизма» помочь осмыслить творчество этих весьма разных художников не может.

Равным образом нельзя утверждать, как неоднократно делалось, что под «истинным романтизмом» Пушкин разумел реализм и только реализм. Томский в «Пиковой даме» говорит, что Германн – «лицо истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля» (VI, 228). Имеются в виду страсти и помыслы, свойственные именно романтической и предромантической литературе. Гете в «Table-talk» назван «великаном романтической поэзии» (VIII, 67), с которым дважды безуспешно пытался бороться (то есть состязаться) Байрон.

Еще в коллективном труде 1975 года «Возникновение русской науки о литературе» А.М.Гуревич писал, что определение пушкинской эстетики как реалистической в главных чертах «не совсем точно. <...> Правильнее было бы сказать, что в романтической эстетике поэт акцентирует как раз те моменты, те стороны, которые сближают романтизм с реализмом. Его концепцию «истинного романтизма» вернее было бы рассматривать как грань между романтизмом и реализмом, как переход к реализму в теории художественного творчества» [6]. Мы видели, что Пушкин и романтизм понимал гораздо шире, чем теперь принято. Однако эстетика его в самом деле пограничная, хотя не только термина «реализм», но и



понятия о реализме у него не было. Тот же А.М.Гуревич в духе советского времени заявляет: «Недаром формула «поэт действительности» <...> казалась ему наиболее подходящей для характеристики собственного творчества» [6]. М.Ф.Мурьянов указывает, что слово «действительность» Пушкин употребил единственный раз [7, С.36]. Это И.В.Киреевский в «Обзрении русской словесности 1829 года» писал об авторе «Полтавы», что «одно стремление воплотить поэзию в действительности уже доказывает и большую зрелость мечты поэта и его сближение с господствующим характером века. Но всегда ли поэт был верен своему направлению, и, переселив воображение в область сущности, нашел ли он в ней полный ответ на все требования поэзии или выступал иногда из круга действительности <...>?»

Кроме голой сущности и *дополнительной* думы поэта (которая также сущность) мы еще находим в «Полтаве» иногда думу, *противоречащую* действительности, иногда порыв чувства, несогласный с тем шекспировским состоянием духа, в котором должен находиться творец, чтобы смотреть на внешний мир как на полное отражение внутреннего. В доказательство укажем на два места «Полтавы»: на софизм о любви стариков и на романтическую чувствительность Мазепы, когда он узнает хутор Кочубея. И то и другое противоречит истине; но то и другое делает минутный эффект. Это сцена из Корнеля, вилетенная в трагедию Шекспира» [8, С.63-64].

Весьма значимы слова «смотреть на внешний мир как на полное отражение внутреннего». М.Ф.Мурьянов отмечает, что слово «действительность» возникло в эпоху Просвещения как книжный неологизм, калька с немецкого философского термина *Wirlichkeit*, созданного мистиками конца XIII века и подчеркивающего производность сущего от действия (*wirken* – действовать), обретение бытием своей полноты в действии.

«Литературная газета» напечатала анонимную, по позднейшему свидетельству Вяземского – пушкинскую, рецензию на альманах «Денница», в котором была помещена статья Киреевского (см. [7, С.37, 36]). В рецензии о нем сказано: «Признав филантропическое влияние Карамзина за характер первой эпохи литературы XIX-го столетия, идеализм Жуковского за средоточие второй, и Пушкина, поэта действительности, за представи-

теля третьей, автор приступает к обозрению словесности прошлого года» (VII, 78). Значит, «поэт действительности» здесь – всего лишь цитата, возможно, несколько ироническая, так как И.В.Киреевский в некотором смысле принадлежал, говоря его же словами, не к «французскому», а к «немецкому направлению» [8, С.57-58, 68-69, 71], приводившему к отвлеченным умствованиям, которых Пушкин не жаловал. Итак; действительность вовсе не то же самое, что реальность, а поэт действительности не синоним реалиста.

Слово «реализм», одно из ключевых в советском литературоведении, вызывает аллергию у литературоведов нового поколения (как вызывало и у диссидентствующих филологов недавнего прошлого). И если В.М.Маркович вопрос о реализме Пушкина не снимает, но признает у него наличие наряду с детерминизмом (о котором больше всех писал Г.А.Гуковский [9]) прямо противоположных детерминизму принципов [10, С.126], то Г.В.Зыкова, подобно В.В.Виноградову [11]*, допускает реализм начиная с 1840-х годов: «<...> реализм, то есть большой стиль европейского искусства 40-х – 70-х гг. XIX века, может быть, и существовал, только Пушкин к нему отношения не имеет как художник предшествующей эпохи» [12]. А.А.Смирнов романтическую лирику Пушкина продлевает по крайней мере до начала 30-х годов [13], И.А.Балашова статью о романтическом историзме посвящает «Капитанской дочке» [14], а О.А.Проскурин не только «реализм», но и «романтизм» иронически закавычивает, говоря, что серьезное исследование южного периода творчества Пушкина «оказалось очень рано (начиная с прижизненной критики) затемнено уводящими в беспросветный тупик вопросами о «романтизме» и особенно «байронизме»» [15]. О реализме Пушкин не говорил, но о романтизме так или иначе говорил многократно и портрет Байрона у себя держал до 1828 года, когда подарил его А.Н.Вульф. Да и с В.М.Марковичем можно согласиться в том, что «объективная логика изучения материала требует не отказа от понятия «реализм», а пересмотра традиционного представления о содержании этого понятия. <...> Очевидно, что высокий иерархический ранг транс-

* Формирование реалистического стиля Виноградов относил к 30-50-м годам XIX века, но не находил его сложившимся у Пушкина.



цендентных категорий сохранялся и в реалистическом искусстве. Однако <...> традиционные, ценностные преимущества трансцендентного уравнивались эстетической реабилитацией наличной действительности (принципиально важной для раннего реализма вообще и для Пушкина в первую очередь). <...> Со временем полузабытая проблема может приобрести экзотичность и даже некоторую привлекательность для отвыкшего от нее сознания. В данном случае это тем более возможно, что появились предпосылки для того, чтобы проблема «Пушкин и реализм» впервые действительно стала проблемой» [10, С.126-127, 129, 132]. Допустимо предположить, что если не сформировавшийся реализм, то *ранне-реалистические тенденции* в творчестве Пушкина, достаточно отличные от романтизма, будут признаны наукой как факт.

Положения, по крайней мере не противоречащие реалистической эстетике, у него встречаются. Когда в одном из набросков он писал: «Дух века требует важных перемен и на сцене драматической» [16], – это был *историзм*. Правда, Пушкин считал создателями исторической драмы Шекспира и Гете (вторая статья об «Истории русского народа» Н.Полевого, 1830), у которых художественного историзма в преобладающем современном понимании еще не было. Это по нынешним меркам неточно, во всяком случае терминологически нестрого. Но в европейских романах с «готическими героинями» Пушкин справедливо видел модернизацию, осовременивание людей XVI века, восклицал: «<...> сколько изысканности! а сверх того, как мало жизни!» (рецензия на «Юрия Милославского» М.Н.Загоскина, 1830 – VII, 72-73), – противопоставлял этим романом осваивавшую историзм вальтерскоттовскую традицию, к которой как романист примкнул и сам. Однако пушкинские слова о том, что Пугачев в его истории «представлен <...> Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою» (X, 411), конечно, антиромантические, но сказаны в письме (26 апреля 1835 года) к И.И.Дмитриеву, человеку миновавшего, «добайроновского» века. Так что это, вероятно, в какой-то степени критика романтизма не только с реалистических, но и с более понятных адресату позиций прошлого. И уж конечно нельзя усматривать в знаменитом сопоставлении характеров у Шекспира и Мольера соответствие энгельсовской формуле о типических характерах и типических обстоятельст-



вах: «<...> обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры» («Table-talk» – VIII, 65). Развивают *перед зрителем* значит разворачивают, раскрывают по ходу представления, а не закономерно и мотивированно изменяют. Мысли об изменении характера под воздействием социальных обстоятельств тут нет, и само слово «обстоятельства» близко здесь по значению словам «ситуация» или «обстановка». С марксизмом это никак не соотносится. Притом Пушкин совершенно прав, поскольку речь идет о Шекспире, а не о социально-историческом реализме XIX века.

В настоящей работе затронуты лишь некоторые теоретико-литературные представления Пушкина. Одно его понимание литературных родов и жанров или прозы и поэзии (эта оппозиция была для него предпочтительнее оппозиции прозы и стихов) требует отдельного большого исследования. Иначе, чем современные теоретики, понимал он пародию и сатиру (последняя для Пушкина – комическое изображение *нравов*, порой независимо от степени критической остроты, оппозиции с юмором нет). Теоретико-литературными были для него и соотносимое с понятием «народность» понятие «местность» (местный колорит, в котором Пушкин старался быть умеренным*, сначала как будто признавал «бледность» своих картин в «Кавказском пленнике», а потом критиковал Т.Мура за чрезмерный восточный колорит), и понятие «цель» (какого-либо жанра или конкретного произведения): значение этого слова близко к значению термина «проблематика», ныне изгоняемого из литературоведения наряду с «реализмом», тем более «методом» и т.д.

Теоретиками для интерпретации пушкинских представлений о литературе не сделано почти ничего. Это может стать целым направлением пушкинистики – при условии, что теория будет в полном смысле слова историчной.

* «Единичны включения ориентализмов в «Цыганах», «Полтаве», «Бахчисарайском фонтане» и других произведениях <...>» [17].



ЛИТЕРАТУРА

1. Пушкин и теоретико-литературная мысль. – М., 1999.
2. Тюпа В.И. К изучению юмора «Повестей Белкина» // Проблемы современного пушкиноведения. Межвузовский сборник научных трудов. – Псков, 1991.
3. Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. – М., 1984. – С. 129.
4. Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. – М., 1981. – С. 150.
5. С.Мирский Д. < Святополк-Мирский Д.П. > История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. London, 1992. С. 141.
6. Возникновение русской науки о литературе. – М., 1975. – С. 397.
7. Мурьянов М.Ф. Пушкин и Германия. – М., 1999.
8. Киреевский И.В. Критика и эстетика. – М., 1979.
9. Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. – М., 1957.
10. Маркович В.М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. Статьи разных лет. – СПб., 1997.
11. Виноградов В. Реализм и развитие русского литературного языка // Проблемы реализма в мировой литературе. – М., 1959. – С. 231-262.
12. Зыкова Г.В. Творчество Пушкина и дискуссии о реализме // Русский язык от Пушкина до наших дней. – Псков, 2000. – С. 200.
13. Смирнов А.А. Границы пушкинского романтизма // Университетский пушкинский сборник. – М., 1999. – С. 45.
14. Балашова И.А. Историзм Пушкина-романтика // Университетский пушкинский сборник. – М., 1999. – С. 72-83.
15. Проскурин О. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. – М., 1999. – С. 56.
16. Пушкин-критик. – М., 1950. – С. 201.
17. Колесников Н.П. Восточная лексика в творчестве Пушкина // А.С. Пушкин и Юг. Международная научно-практическая конференция. Доклады. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 112.



В.А. НЕВСКАЯ

*зав. научно-методическим отделом,
Государственный музей А.С. Пушкина (Москва)*

Неизвестный вариант реконструкции десятой главы «Евгения Онегина»

*19 окт. <ября> сожж. <ена> X песнь.
Пушкин. Помета на черновой
рукописи «Метели». 1830*.*

*Счастливая подделка может ввести в
заблуждение людей незнающих, но не
может укрыться от взоров истинного
знатока.*

*Пушкин. <Песнь о полку Игореве>.
1836 [XII, 147].*

Немного найдется в русской литературе произведений, вызвавших появление на свет такого количества подражаний, продолжений, пародийных вариантов и т.п., как «Евгений Онегин». Особую категорию среди них составляют полностью или частично «восстановленные» тексты десятой главы романа, из которой сохранились, согласно традиционной расшифровке автографа, по несколько строк из семнадцати строф.

Напомним, что факт существования главы подтверждал как сам Пушкин, так и его современники: А.О. Смирнова-Россет, А.А. Кононов и др. Известно также, что 19 октября 1830 года «славная хроника» (по определению П.А. Вяземского) была сожжена, что, впрочем, не мешало поэту читать ее фрагменты в узком кругу друзей и знакомых. После смерти Пушкина ни авторской рукописи, ни какого-либо списка таинственных крамольных строф не обнаружилось. Скупые мемуарные свидетельства позволяли только догадываться об их содержании.

* Пушкин А.С. Полное собрание сочинений : В 17 т. / АН СССР. М.; Л., 1948. Т.8.С. 622. Далее ссылки даются по этому изданию с указанием в скобках тома римскими цифрами и страницы – арабскими.



Как известно, сенсационное «открытие» десятой главы пришлось на начало XX века. Среди бумаг Пушкина, поступивших в Академию наук в 1904 году от А.А. Майковой, вдовы академика Л.Н. Майкова, находилось два стихотворных автографа. Один из них представлял собой черновой, но вполне читаемый поэтический отрывок. Строки другого автографа, расположенные в два столбца, не составляли связного текста, что наводило на мысль о присутствии здесь какого-то шифра. Известному издателю-пушкинисту П.О. Морозову удалось найти ключ к зашифрованным строчкам, которые нужно было читать в определенной последовательности. В статье «Шифрованное стихотворение Пушкина» [1], сопровождавшейся факсимильным воспроизведением автографов, Морозов высказал предположение, что оба отрывка относятся к «Путешествию Онегина». Н.О. Лернер, включив расшифрованные Морозовым стихи в очередное собрание сочинений поэта (Библиотека великих писателей. Пушкин. Пг., 1915. Т.6), впервые соотнес их с десятой главой романа. Крупнейший специалист в области пушкинской текстологии С.М. Бонди, еще будучи студентом, в начале 20-х годов XX века доказал, что обнаруженный текст является не просто хаотичными фрагментами десятой главы, а представляет из себя начальные стихи шестнадцати строф. Еще одна строфа – семнадцатая – составила из стихов нешифрованного автографа.

Несмотря на обилие исследовательских работ, посвященных десятой главе, она не утратила своей таинственности. Сохранившиеся пушкинские рукописные листы заполнялись не всегда разборчивой скорописью. Многочисленные сокращения отдельных слов, имен собственных и географических названий допускали различные прочтения. Например, в строке «Кинжал Л. тень Б.» у текстологов не вызывает сомнения только слово «кинжал», а слово «тень» и заглавные «Л» и «Б» прочитываются предположительно. Кроме того, несколько строк шифрованного автографа, не подчиняясь логике найденного Морозовым ключа, выпадали из общей композиции текста, и исследователям приходилось дополнять «лишними» строками ту или иную строфу. Это несовершенство пушкинской шифровки позволило В.В. Набокову предложить иную, более логичную последовательность строф, увеличив их количество до восемнадцати. В пушкиноведении существуют также

работы, подвергающие сомнению сам факт принадлежности расшифрованного текста к десятой главе.*

Интригующая загадочность пушкинского замысла дополнить «Онегина» неподцензурным обзором важнейших политических событий первой трети XIX века определила закономерность попыток представить его возможное развитие.

До сих пор были известны лишь две реконструкции десятой главы. Одна из них, возникшая в начале 1950-х и наделавшая в свое время немало шума, – знаменитая «находка» Даниила Альшица [5, 6]. Вторая принадлежит перу поэта, литературоведа и журналиста Андрея Чернова.** Теперь мы имеем возможность познакомить читателей с третьим вариантом «восставшей из пепла» песни пушкинского романа. Она печатается впервые по машинописи, хранящейся в архиве народного художника России Льва Алексеевича Токмакова.

Рукопись пришла к Л.А. Токмакову со следующей легендой: текст десятой главы был в 1930-е годы расшифрован группой ведущих советских пушкинистов, вычисливших «ключ» к шифру при помощи книг личной библиотеки поэта. Как гласит предание, дальнейшее решение судьбы реконструированных строф обсуждалось на самом высоком правительственном уровне, но отсутствие рукописи заставило не только отказаться от мысли о ее публикации, но и наложить запрет на любое упоминание об открытии. Чудесным обретением текста мы якобы обязаны известному советскому поэту, который, будучи приглашен в компетентные органы для экспертизы, сумел запомнить 10 неполных строф. Передавая рукопись Л.А. Токмакову, ее многолетний хранитель имя «эксперта» назвать отказался.

Даже беглое знакомство с публикуемым текстом указывает на то, что он вполне согласуется с литературоведческими работами советского времени, опиравшимися на мемуарные свидетельства

* По мнению И.М. Дьяконова [2], зашифрованный текст представляет собой часть восьмой главы; по предположению Ю.М. Лотмана [3] это – вариант дневника Онегина; согласно версии В.А. Кожевникова [4], данные строфы представляют собой фрагменты текста, изъятого Пушкиным по цензурным соображениям из разных глав романа.

** Публикации: Знамя. 1987. № 1; Невский курьер. 1990. 19 марта; Русская виза. 1994. № 4; Новая газета. 1998. № 22; Пушкин А. X сожженная глава «Евгения Онегина» / Реконструкция А. Чернова. Иркутск, 1999.



современников поэта. Но если в «варианте Д.Н. Альшица», несомненно, базирующемся на известных воспоминаниях М.В. Юзефовича («Онегин должен был <...> попасть в число декабристов»), пушкинский герой отправляется в опасный декабристский путь (Вдруг радость! Нет, вообразите! / С письмом от Пестеля к Никите / Ну кто б вы думали – гонец? / – Онегин! – Пушкин! – Наконец), то для автора «десятой главы», пришедшей от Л.А. Токмакова, сюжетным ориентиром, судя по всему, служит письмо А.И. Тургенева жившему за границей брату Николаю, где говорится о потаенном фрагменте «Евгения Онегина» с описанием «возмущения 1825 года» [7]. А так как в сохранившихся пушкинских строфах прямые упоминания о событиях на Сенатской площади отсутствуют, неизвестный нам автор восполняет этот пробел, предлагая картину восстания, дополненную фигурой Онегина, выступающего, скорее в роли зрителя, чем участника событий:

Евгений, как и все другие,
С утра на площади стоял,
Но после в сети роковые
По воле неба не попал.

В итоге, оставив героя «с самим собой и с неотвязчивой хандрой», автор провидчески обрекает Онегина на вечное скитание среди тех, кому заблагорассудится самостоятельно «придумать судьбу дальнейшую его».

Впрочем, именно значительно сниженный градус революционности пушкинского героя в варианте, хранившемся Л.А. Токмаковым, наводит на мысль о том, что предлагаемые здесь фрагменты «десятой главы» «нашлись» значительно позднее альшицевской. Но, это не делает текст менее занимательным, ибо, как писал Ю.М. Лотман, «история псевдо-пушкинианы есть часть истории пушкинианы, имитация – всегда памятник восприятия и этим уже принадлежит истории» [3, С.245].

III

Гроза двенадцатого года
Настала – кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский Бог?
Мы до Смоленска от границы,
А от Смоленска до столицы
Бежали. Только под Москвой
Бородина свершился бой.
Вот он, венец твоих мечтаний,
О чем ты грезил наяву:
Вперед, Мюрат! Вперед, Даву!
Людских надежд, людских страданий
Обитель, гордая глава
Руси. У ног твоих Москва!

VI

Авось, о Шиболет народный,
Тебе б я оду посвятил,
Но стихоплет великородный
Меня уже предупредил.
Текли года, и Бонапарту
Нежданно изменили карты
Войны. Окончен шумный путь.
Пора Европе отдохнуть.
Моря достались Альбиону,
Сместились линии границ,
Поднялся кто, упал кто ниц,
Кто получил, кто снял корону.
Мелькает быстрый бег времен,
И лишь в Руси без перемен.

* Полужирным шрифтом выделен пушкинский текст.



VII

**Авось, аренды забывая,
Ханжа запрется в монастырь,
Авось, по манью Николая
Семействам возвратит Сибирь**
Отцов. Сожгут навеки плаху.
Авось, сумеем мы без страху
Свободно есть, и пить, и спать,
Все говорить и все писать.
Авось, дороги нам поправят.
Авось, – молю тебя Творец! –
Авось, цензура, наконец,
Черкать безжалостно оставит
Творенья наши вкривь и вкось.
«Авось! – я говорю. – Авось!»»

IX

**Тряслися грозно Пиренеи,
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Морен
Из Кишинева уж мигал.**
Паук за дальнею Моравой –
Плел сети Меттерних лукавый,
И все пошло своей чредой.
Растерзан хищников рукой
Уж польский край, его народы
Смирились, вольность позабыв.
Париж, войну похоронив,
Уж вновь законодатель моды,
И вновь, как много, много лет
У врат его толпится свет.

.....
.....
.....
.....



.....
.....
.....
.....

Уж солнца зимнего лучами
Озарена зажглась река.
Уже мятежные войска
Подходят к площади частями.
И вот стоят, подняв штыки,
Неприсягнувшие полки.

Весь день на площади движенье,
Кругом народ стеной стоит,
Толпа являет напряженье.
Уж Милорадович убит,
И раза два в царя стреляли.
Уже дворец чуть-чуть не взяли, —
Да видно черт помог царю.
В неколебаемом строю
Полки стоят в молчаньи грозном.
Лишь изредка жужжит свинец.
Заходит солнце. Наконец,
Стемнело. В воздухе морозном
Огни зажглися. Тут и там
Промчался ропот по рядам.

Они пошли. Но, други, будет!
Мой безыскусственный рассказ
Лишь боль заглохшую разбудит
И опечалит лишний раз.
Зачем напоминать невзгоды?
Тревожить через долги годы
Ваш принудительный покой
Картиной ночи роковой?
Бегите злых воспоминаний.



Надежда не оставит вас.
Я верю, что еще не раз
Огонь пленительных мечтаний
И буйной радости идей
Воспламенит сердца людей.

Евгений, как и все другие,
С утра на площади стоял,
Но после в сети роковые
По воле неба не попал
И, провидением хранимый,
Фортуны баловень любимый,
Остался он с самим собой
И с неотвязчивой хандрой.
Аминь! Придумать всякий волен
Судьбу дальнейшую его.
Я ж не скажу вам ничего.
Но что? Читатель недоволен?
Он от меня иного ждал?
Конечно, если б пожелал,

Я мог бы в стиле Вальтер Скотта
Иль Метьюрина вас пленить,
Его, как нового Мельмота,
Я мог бы в странствия пустить.
Для пользы мира и кармана
Я мог бы своего романа
Еще глав десять написать.
Я б мог заставить вас рыдать
Сентиментальными строками.
Я б мог герою в тридцать лет
К виску приставить пистолет...
Не надо. До сих пор он с нами,
И до сих пор тревожит свет
Его знакомый силуэт.

И до сих пор среди нас он бродит,
Быть может, в облике ином,
И до сих пор людей наводит
На мысль о лучшем, о другом.
Простимся с ним. Его простою
Незавлекательной судьбою,
Дорогой радостей и бед
Я занят был семь долгих лет.
Иди ж в века, мое творенье!
Мои греховные мечты
Под маской легкой пустоты,
Мое ночное вдохновенье
Потомку, как в далеком сне,
Напомнят, может, обо мне.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Выпуск XIII. – СПб., 1910.
2. Дьяконов И.М. О восьмой, девятой и десятой главах «Евгения Онегина» // Русская литература. 1963. №3. С.37-61.
3. Лотман М.Ю., Лотман Ю.М. Вокруг десятой главы «Евгения Онегина» // Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3-х тт. Т.3. – Таллинн, 1993. – С.213-245.
4. Кожевников В.А. «Вся жизнь, вся душа, вся любовь...». – М., 1993.
5. Тимофеев Л.И., Черкасский Вяч. Апокриф?.. Или... // Прометей: Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». № 13. М., 1983. С.110-127.
6. Гуторов И.В. О десятой главе «Евгения Онегина» А.С. Пушкина // Ученые записки. Вып. XXVII: Серия филологическая / Белорусский государственный университет им. В.И. Ленина. – Минск, 1956. – С. 14-15. (С.М. Бонди, Д.Д. Благой, Б.В. Томашевский, Т.Г. Цявловская, И.Л. Фейнберг, Ю.М. Лотман считали альшицевский вариант десятой главы подделкой).
7. Журнал Министерства Народного Просвещения. Ч. XLIV. СПб., 1913. С.16-17.

А. П. РУДНЕВ

кандидат филологических наук (Москва)

Пушкин в художественном мире А. Н. Толстого

Вряд ли найдется хотя бы более или менее крупный писатель в истории русской литературы разного времени, который прошел бы в своей жизни и в своем творчестве мимо Пушкина.

Алексей Николаевич Толстой – признанный классик русской литературы, чье творчество «золотыми нитями», по выражению К. А. Федина, связано с русской классической литературой XIX века, а особенно с ее дворянской линией.

В отличие, скажем, от своих старших современников, выступивших в литературе на полтора десятилетия раньше А. Н. Толстого, писателей-знамьецев (А. И. Куприн, В. В. Вересаев, отчасти Л. Андреев и др.), которые в своем творчестве представляли новый реализм начала XX века, равно как и в отличие от деятелей русского «серебряного века», А. Н. Толстой представляет собой как бы живое продолжение именно классики XIX века, и не в последнюю очередь, как мы попытаемся это показать, ее пушкинскую линию. Хотя в период своего творческого становления А. Н. Толстой испытал значительное влияние символистов.

Как известно, последнее время А. Н. Толстой зачастую становился объектом крикливо-разоблачительных газетно-журнальных нападок как «красный граф», идеально сумевший приспособиться к сталинскому режиму и пользовавшийся в неограниченном количестве всеми благами жизни, в то время как многие другие прекрасные, талантливые писатели страдали от лишений, погибали в лагерях и тюрьмах, но не сказали ни одного неверного слова. Нельзя не признать, что отчасти это правда. Но, главное, с моей точки зрения, заключается в том, что подлинный, живой, искрящийся как шампанское талант А. Н. Толстого выдержал все испытания временем и все политические веяния, и остался тем, чем он есть – писателем милостью Божией.

Несомненно, что А. Н. Толстой принадлежит к таким художникам, чье творчество, говоря словами А. С. Пушкина из его письма к И. И. Лажечникову 1835 года, не забудется, «доколе не забудется



русский язык». И об этом, конечно, следует помнить в первую очередь.

Ведь люди, изображенные в его произведениях – будь то опричники Ивана Грозного, стрельцы и бояре петровского времени, заволжские помещики – «чудаки, красочные и нелепые», русские интеллигенты из дворян предреволюционной и послереволюционной поры, дворянский мальчик Никита из повести «Детство Никиты», нэпмановские жулики и проходимцы 20-х годов – все это живое, дышащее, трепещущее, как и воздух, их окружающий, и вещный мир, изображенный А.Н. Толстым с редкостной зоркостью и изощренной художнической наблюдательностью. Все это также заставляет вспомнить Пушкина.

Об этом очень хорошо сказал близко знавший А.Н.Толстого И.Л.Андроников в своем мемуарном очерке об А.Н.Толстом: «...Изобразительная сила Толстого огромна. Он заставляет вас физически видеть читаемое: толщу древней кремлевской башни, рыжебородого солдата в серой папахе, сдирающего кожицу с куска колбасы, (...) вы слышите в его описаниях шелковый плеск волны, рассеченной носом моторной лодки, чувствуете вкус ледяной воды в ковшике, запах ночного костра, зябко ежитесь, укутанные молочным туманом. Он считал, что предмет, о котором пишешь, нужно видеть в движении, придавал большое значение жесту, говорил:

– Пока не увижу жеста – не слышу слова.

Способность видеть воображаемое он развил в себе до такой яркости, что иногда путал бывшее и выдуманное (...).

Гоголь в статье о Пушкине пишет, что в нем русская природа, русская душа, русский язык отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, с какой отражаются ландшафты на выпуклой поверхности оптического стекла. Если это определение можно относить к другим художникам слова, я отнесу его к Алексею Толстому. От Ивана Грозного и царя Петра до майора Дремова в рассказе «Русский характер». Целую галерею русских характеров создал Толстой. Он отразил самые возвышенные свойства русского ума и души» [1].

И далее И.Л.Андроников с восхищением пишет: «Вспоминаю одно место из его доклада на Первом съезде писателей: «Грохот пушек и скорострельных митралез Пугачева, отлитых уральскими рабочими, слышен по всей Европе. Немного позже им ответят

пушки Конвента и удары гильотины. Грозы революции перекачываются в XIX век. Больше немислимо жить, мечтая об аркадских пастушках и золотом веке. Молодой Пушкин черпает золотым ковшем народную речь, еще не остывшую от пугачевского пожара».

Как хорошо! В этой поэтической фразе какие масштабы у Пушкина богатырские! (...) Каждое слово здесь вызывает зрительное представление, усиливающее и поддерживающее свойства предыдущего слова. И пламя есть в этой фразе – пламя революции, и жар творчества, и молодость Пушкина, и чистота пушкинской речи, и золотой ковш этот, как образ пушкинской поэзии, как синоним ее народности, емкости, великого совершенства ее формы. (...) Олицетворением совершенства русской речи был для Толстого Пушкин. Да, в нем самом есть многое, идущее от пушкинской традиции (...)» [1].

Последние слова в этом фрагменте чрезвычайно важны – А.Н.Толстой как наиболее яркий писатель предреволюционной и советской эпохи, пожалуй, более многих впитал в себя пушкинские животворные соки.

Но всегда, когда говорится о связях А.Н.Толстого с классикой, в первую очередь появляются имена Гоголя, Тургенева, в определенной мере Достоевского, Льва Толстого, а потом уже Пушкина.

Гоголь – это сатирическое и комедийно-фарсовое начало в прозе А.Н.Толстого, ярко проявившееся еще в его ранних рассказах о заволжских помещиках, дворянских последышах.*

Тургенев – это старинный дворянско-усадебный колорит произведений А.Н.Толстого с его лирической линией, а Л.Н.Толстой – это, конечно, историческая проза с ее эпическим размахом, прежде всего, роман «Петр Первый».

Однако в художественном мире А.Н.Толстого ничуть не менее (а быть может и более) присутствует и пушкинское начало. Сам А.Н.Толстой в письме от 26 марта 1912 года к издателю Н.С.Ангарскому-Клестову сказал об этом так: «По-моему, истинное искусство должно составиться из полярных элементов: Пушкина и Достоевского. (...) Так вот Запад, например, давно уже носит в потайном кармане <Пушкина> и Достоевского, а у нас пока отделяются блевотным романтизмом Арцыбашева и Куприна» [3, С.192-193].

* См. об этом в книге А.М.Крюковой [2. С. 86-146].



Конечно Пушкин из этих двух «полярных элементов» значительно ближе к мироощущению А.Н.Толстого и его здоровому, оптимистическому творчеству. А.Н.Толстой – художник всегда утверждал преимущества живой, плотской жизни над отвлеченными проблемами бытия – это одна из ведущих черт его художественного мира, и этим он также близок Пушкину. Философия жизни в его творчестве (так же, как и Пушкина в огромной мере) как бы скрыта в вещно-художественных образах, в предметах внешнего мира, в сюжете, наконец. И оговорка Толстого о Куприне и Арцыбашеве тоже очень знаменательна – она показывает, что А.Н.Толстой всегда ориентировался на классиков, «вечных спутников» человечества.

Говоря так о Пушкине, А.Н.Толстой, несомненно, не в последнюю очередь имел в виду и самого себя.

А значительно позднее, уже в 1930-х годах, прославленный классик советской литературы в одной из своих публицистических статей так обозначил роль Пушкина в развитии русской литературы и русского литературного языка, а тем самым и для собственного творчества: «русский язык – один из наиболее магических языков потому, что он ближе, чем все другие европейские языки, к разговорной речи. В русской литературе были уклоны, когда литературный язык уходил от народной речи в некую искусственную форму. Иные писатели переносили на русскую почву французскую форму, галантную, прекрасно сделанную литературную фразу, и недаром так боролся с этим Лев Толстой, ломая все, обнажая правду, добываясь вот этой самой магической силы слова. Русский язык – это прежде всего Пушкин – неуловимый привал русского языка» [4, С.18].

Если обратиться к пушкинскому влиянию и пушкинским отголоскам в художественном творчестве А.Н.Толстого, то в первую очередь, конечно, следует назвать его роман «Петр Первый». Именно здесь прежде всего и можно говорить о пушкинской традиции.

В своих первых произведениях на тему Петра и его преобразований (рассказ «День Петра» 1917), затем пьеса «На дыбе» (1928), заканчивающейся сценой петербургского наводнения, во многом восходящей к «Медному всаднику», которые предшествовали его роману «Петр Первый», образ «державного властелина»



императора Петра Великого Алексей Толстой представил в духе исторических романов Д.С.Мережковского – здесь Петр предстает в несколько мистическом духе, полубезумным деспотом, а его помощники и сподвижники – ворами, жуликами и пропойцами. Однако что касается романа «Петр Первый», то в нем, вопреки мнению некоторых писателей, дает себе знать все-таки не Мережковский, а именно пушкинская линия русской классической литературы.

Мне вспоминается разговор на эту тему с покойным Никитой Алексеевичем Толстым, сыном А.Н.Толстого, которому уподобление А.Н.Толстого с его абсолютно реалистическим творчеством, отличающимся пушкинской ясностью и прозрачностью, Мережковскому с его вычурной литературностью и мистицизмом, казалось чудовищной нелепостью и несообразностью. «Это все равно, что уподоблять пиджак яйцу всмятку!» – говорил он. Кроме того, в первых произведениях А.Н.Толстого на петровскую тему явственно прозвучал мотив уничтожения Петром национальной самобытности России – превращения России в Голландию. И тогда Алексей Толстой не был уверен в положительном значении деятельности царя-преобразователя. Но в то же время и здесь, особенно, в рассказе «день Петра», как справедливо указывал Д.Д.Благой, «образ Петра, исполненный могучей силы, кипучей энергии и одновременно обаятельной простоты, <восходил> к пушкинскому «на троне вечному работнику» из «Стансов» и «Пира Петра Великого» [5, С.373].

Показывая царя – «вечного работника», А.Н.Толстой во многом следовал пушкинскому «Арапу Петра Великого», в котором, по замечанию того же Д.Д.Благого, «Петр материализуется, становится на землю, очеловечивается» [5, С.389].

И эта линия далее будет продолжена и доведена до совершенства в романе «Петр Первый».

В рассказе «День Петра» и в пьесе «На дыбе» А.Н.Толстой показывает во многом трагический характер петровских преобразований, хотя в конечном счете и направленных на благо России, о чем ярко свидетельствует следующий пассаж из рассказа «День Петра»:

«И пусть топор царя прорубал окно в самых костях и мясе народном, пусть гибли в великом сквозняке смиренные мужики, не знавшие даже – зачем и кому нужна их жизнь, <...> все же окно было прорублено, и свежий ветер ворвался в ветхие терема. <...>

Но все же случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не вошла, парадная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде – рабою».*

В связи с этим следует напомнить что и Пушкин в своих планах и заметках к «Истории Петра Великого» также писал о жесткости и самодурстве царя Петра.** Исторический же очерк деятельности императора во многих аспектах, и прежде всего, как нам кажется, в плане созидательной мощи петровских преобразований, несомненно, отозвался в произведениях о Петре Алексея Толстого, в первую очередь в романе «Петр Первый». Ведь А.Н.Толстой, который обращался в процессе работы над историческим романом ко множеству исторических источников, несомненно, не мог обойти и пушкинскую «Историю Петра», хотя прямых указаний на этот счет мы не имеем.

В романе «Петр Первый» – вершином создания в творчестве замечательного художника – стремительно, калейдоскопично и пестро сменяются самые разнохарактерные, подчас резко противоположные картины и эпизоды, показаны самые разнообразные герои – и исторически вымышленные. В этом смысле нельзя не отметить, с одной стороны, линию, идущую от трагедии Пушкина «Борис Годунов», а с другой – от повести «Капитанская дочка», в которой, как известно, также действуют и реально-исторические, и вымышленные персонажи, внутренняя, да и внешне-событийная связь которых перасторжима.

Роман «Петр Первый» не был закончен автором, и многие эпизоды биографии и деятельности Петра Великого остались за его пределами – например, Полтавская битва. Но тем не менее роман А.Н.Толстого – исключительно цельное и завершенное произведение, в нем Петр Первый и его эпоха показаны с изумительной разносторонностью, и полнотой и пластичностью. Образ Петра у Толстого в чем-то сниженный, иногда малопривлекательный (толстовский Петр бесконечно далек от парадного и канонизированного пушкинского Петра), все же волшебной силой таланта А.Н.Толстого заставляет вспомнить монументального Петра «Пол-

* Толстой А.Н. Собр. соч.: В 10 т. Т.3. – М., ГИХЛ, 1958. – С.84.

** См. об этом, например, в «Материалах для биографии А.С.Пушкина» Н.В.Анненкова [6].



тавы» и «Медного Всадника» и не в последнюю очередь – в плане утверждения российской государственности. Поэтому, с моей точки зрения, было бы очень уместно привести здесь строчку стихов современного петербургского поэта Андрея Чернова, которая очень близко ассоциируется с атмосферой романа А.Н.Толстого и его пушкинскими истоками:

Подобьем двух ключей от Рима
Сам Петр перекрестил не зря.
Инициалы Petro Primo
Небесной бездны якоря.

В совершенно другое время и в соответствии со спецификой своего таланта и своего творчества А.Н.Толстой создал роман, который продолжил поиски многоаспектного решения одного из важнейших, узловых моментов русской истории. И наследование пушкинской линии А.Н.Толстым проявилось, в чем мы убеждены более всего, в глубоко скрытом, органически впитавшемся влиянии не только пушкинских тем и идей, но и самого пушкинского языка, той «нагой простоты», которая у А.Н.Толстого оказалась расчеченной новыми выразительнейшими красками.

Если обратиться к другим произведениям А.Н.Толстого, то нельзя не отметить, что пушкинская тема подспудно присутствует в классическом описании предреволюционного Петербурга в прологе трилогии «Хождение по мукам», в ее первой части – романе «Сестры». Не будет преувеличением сказать, что такое описание «северной столицы» идет во многом от Пушкина и навеяно, можно полагать, не в последнюю очередь «Медным всадником». Только в этой картине, созданной пером А.Н.Толстого, явственно звучат надтреснутые ноты предчувствия неотвратимо приближающихся социально-исторических катаклизмов, знаменующих конец прежней жизни и прежнего великолепия Петербурга.

«Сторонний наблюдатель, из какого-нибудь заросшего липами, захоластного переулка, попадая в Петербург, испытывал <...> сложное чувство умственного возбуждения и душевной подавленности. Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных домов с темными окнами <...> глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов с зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами уютных и нерадостных дворцов, с нерусской пронзительной высотой Петропавлов-

ского собора <...> заглядывая в лица прохожих – озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, – видя и виняя всему этому, сторонний наблюдатель – благонамеренный – прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее очарование».*

«Как сон прошли два столетия: – делает своеобразный исторический экскурс А.Н.Толстой. – Петербург, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил безграничной славой и властью; бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни; слабые женщины принимали полубожественную власть; из горячих и смятых постелей решались судьбы народов, приходили рыжие парни с могучим сложением и черными от земли руками, и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть – ложе и византийскую роскошь <...> Страна питала и никогда не могла досыта напиться кровью своею петербургские призраки. <...> Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной, полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие и сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыгане, дуэли на рассвете, в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт – парад войскам перед наводящим ужас взглядом византийских глаз императора. – Так жил город».**

«Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбово любовью, надрывающимися и бессильно-чувственными звуками танго – предсмертного гимна – он жил словно в ожидании рокового и страшного дня»***

Классическая и в определенной мере пушкинская топальность этих пассажей очевидна.

«В романе «Хождение по мукам», – справедливо замечает А.М.Крюкова, исследователь творчества А.Н.Толстого, – <...> тема Петербурга звучит как завершившаяся трагическая страница отечественной истории, начало какого-то нового ее этапа» [2,

* Толстой А.Н. **Собр.** соч. В 10 т. Т.5, М., ГИХЛ, 1959, С.9.

** Там же. С.10.

*** Там же. С.12.



С.189]. Уходит в прошлое эпоха «Медного Всадника», «Пиковой дамы», а что придет на смену этому – пока неясно, и мучает, и волнует тяжелыми предчувствиями.

Образ Петербурга есть также и в незавершенном романе А.Н.Толстого «Егор Абозов», в котором изображена литературная среда предреволюционной столицы, а перед этим – в рассказе 1911 года «Туманный день» – здесь также слышны пушкинские отголоски.

В жизни А.Н.Толстого – человека и литературно-общественного деятеля – Пушкин также занимал заметное место. Этому есть много свидетельств. Так, сама жизнь в течение долгого времени А.Н.Толстого и его семьи в Царском Селе (г.Пушкино), где все дышит Пушкиным, не могла пройти для него бесследно. В его кабинете находилась посмертная маска Пушкина, которую теперь можно видеть в московской квартире-музее А.Н.Толстого на Смирidonовке.

Там же, в московской квартире А.Н.Толстого, находится картина И.Босха «Искушение святого Антония», на которой изображены всевозможные чудища, карлики и уродцы.

По свидетельству В.Д.Берестова, жившего в отроческом возрасте некоторое время в семье Толстых в период Великой Отечественной войны и написавшего об этом очень интересные воспоминания, «Алексей Николаевич уверял, что именно с нее (этой картины Босха – А.Р.) Пушкин писал сон Татьяны» в 5-ой главе «Евгения Онегина» [4, С.439].

Несомненно, Пушкин видел эту картину в Тригорском, поэтому предположение А.Н.Толстого имеет безусловный смысл и интерес. А вот как она попала к А.Н.Толстому – наверняка сказать трудно, скорее всего, была приобретена им по случаю у антикваров.

В середине 1930-х годов А.Н.Толстого в качестве одного из ведущих и влиятельных писателей избрали председателем Пушкинского общества, преобразованного из Общества друзей Пушкинского заповедника. Об этом есть интересные воспоминания В.А.Мануйлова, написанные в 1984 году специально для сборника «А.Н.Толстой: Материалы и исследования», подготовленного и изданного в ИМЛИ.

«Алексей Николаевич внимательно выслушал мой краткий рассказ о перспективах Пушкинского общества, – вспоминал



В.А.Мануйлов. <...> и к большой нашей радости согласился возглавить работу Пушкинского общества. Несмотря на постоянную занятость, он вникал в жизнь Общества, помогал преодолевать трудности и был инициатором многих наших начинаний» [7].

В период подготовки и проведения 100-летней годовщины со дня гибели А.С.Пушкина осуществлялось полное академическое издание сочинений Пушкина. В 1938 году вышел 9 полутом прозы Пушкина, и на этом выход в свет остальных томов был приостановлен.

«В 1939 году, – рассказывает В.А.Мануйлов – ко мне обратились пушкинисты Мстислав Александрович Цявловский и Борис Викторович Томашевский с просьбой помочь им встретиться с А.Н.Толстым, депутатом Верховного Совета СССР и председателем Пушкинского общества, чтобы посоветоваться, как разрешить возникшие трудности с продолжением издания. Алексей Николаевич охотно согласился встретиться, но тут же сказал мне: «Конечно, надо что-то предпринять. Я готов поговорить с кем нужно, но меня смущает, как я буду беседовать с такими видными пушкинистами. Да, я председатель Пушкинского общества, очень люблю Пушкина, но я же ничего не понимаю в пушкиноведении. Ну, дружил со Щеголевым, с увлечением прочел его книгу «Дуэль и смерть Пушкина», разве что Вы меня поправите, если я что-нибудь лягну».

<...> Дело, действительно, оказалось сложным и потребовало обращения в самые высокие инстанции. Академическое издание Пушкина было спасено. Но до его успешного завершения в 1949 году Алексей Николаевич не дожил» [3, Т.2, С.349].

Совершенно очевидно, что в своих отношениях с разными людьми и литературными деятелями-современниками А.Н.Толстой не раз вел речь о Пушкине в самых различных аспектах. Подтверждение этому – письмо К.И.Чуковского А.Н.Толстому, написанное в январе 1943 года совсем по другому поводу, но пассаж о Пушкине в присущей Чуковскому насмешливо едкой и немного желчной манере очень выразителен, и для нас это важно тем, что адресован он А.Н.Толстому: «Дорогой Алексей Николаевич! – писал К.И.Чуковский. – Наши олухи-литературоведы всегда утверждали, будто Пушкин «ужасно страдал» в ссылке в селе Михайловском. А между тем во время этих «страданий» Пушкин написал «Графа Нулина», – самую



«Графа Нулина», – самую озорную, самую счастливую, бессмертно-веселую вещь, какая когда-либо была написана русским пером. Пережить бы хоть на секунду то счастье, какое испытывал этот «страдалец», когда с такой творческой радостью писал эти строки» [3, Т.2, С.349].

Мы, к сожалению, не располагаем письмом А.Н.Толстого к К.И.Чуковскому по этому поводу, мы не знаем даже точно, было ли оно вообще, и скорее всего это суждение Чуковского было случайным, как говорится, *argo rose*, но можем предположить с большой долей вероятности, что А.Н.Толстой согласился бы с таким суждением.

А.Н.Толстой очень любил письма Пушкина, часто их перечитывал, считал их верхом словесного искусства, придавал большое значение их публикациям в разных изданиях, а в особенности в пушкинском академическом издании.

Характерно и показательно, что о письмах Пушкина он вспомнил в один из самых решающих моментов своей личной жизни.

В письме от 28-29 сентября 1935 года к любимой женщине Людмиле Ильиничне Крестинской-Баршевой, которая вскоре стала его женой, А.Н.Толстой признавался: «<...> Твое письмо мне напомнило письма Пушкина. От него – аромат твоей прелести» [3, Т.2, С.236].

В письме к Людмиле Ильиничне, написанном чуть раньше, 20 сентября 1935 года, он писал: «Мика, меня ужасно взволновало, когда вы пели (у Шишкова) «Я помню чудное мгновенье...» Но у Пушкина были только мечты, нереальные, как сон... А мы уже ступаем по реальной земле будущего. Люблю тебя. А.Толстой» [3, Т.2, С.231].

В конце 1934 года А.Н.Толстой был опасно и тяжело болен (он перенес два инфаркта, последовавших один за другим), и в письме к нему от 1 января 1935 года вместе с новогодними поздравлениями А.М.Горький, высказывая живейшее беспокойство о здоровье Алексея Николаевича, советует ему вести более воздержанный образ жизни, не перегружаться напряженной творческой работой и побольше читать Пушкина: «Общение же с лицами, своевременно или преждевременно – как А.С.Пушкин – отошедшими в небытие, – отнюдь не возбраняется, но поощряется».



В заключение невозможно не упомянуть еще об одном обращении А.Н.Толстого к Пушкину.

В июле 1941 года, в самом начале Великой Отечественной войны А.Н.Толстой выступил по радио со страстной, ярко патриотической статьей «Что мы защищаем», которая потом была опубликована в газете «Красная звезда». Заканчивалась она строками из пушкинского стихотворения «Клеветникам России»:

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая
Стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля?

Таким образом, из нашего обзора видно, что у А.Н.Толстого – художника и человека существовала разнообразная, прочная и глубинная связь с Пушкиным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андроников И.Л. Поездка в Ярославль // Андроников И.Л. Я хочу рассказать вам... – М., Советский писатель, 1965. – С. 369-370.
2. Крюкова А.М. А.Н.Толстой в русской литературе: Творческая индивидуальность в литературном процессе. – М., Наука, 1990. – С. 86-146 (Раздел «Гоголь в художественном мире А.Н.Толстого»).
3. Переписка А.Н.Толстого. – М., Художественная литература, 1989.
4. Воспоминания об А.Н.Толстом. – М., Советский писатель, 1973.
5. Благой Д.Д. «Петр Первый» Алексея Толстого // Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней. – М., Художественная литература, 1979, Т.2.
6. П.В.Анненков. Материалы для биографии А.С.Пушкина. – М., Современник, 1984. – С. 363, 364-367.
7. Мануйлов В.А. А.Н.Толстой в Пушкинском обществе // А.Н.Толстой. Материалы и исследования. – М., Наука, 1985. – С.225-226.





В.П. СТАРК

*доктор филологических наук, старший научный сотрудник,
Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом),
г. Санкт-Петербург*

Пушкин в представлении Пушкина

Знаменитые цветаевские слова «У каждого времени свой Пушкин» находят себе подтверждение уже в самом сопоставлении многочисленных и разновременных обращений к Пушкину. Каждое время имеет свои ориентиры. В соответствии с ними определяются взгляды на Пушкина, интерпретирование его биографии и творчества в направлении, соответствующем вкусам, нравам и потребностям эпохи. Переоценка ценностей влечет за собою неизбежный пересмотр подхода к пушкинскому наследию, корректирует видение.

Основные пути постижения мира Пушкина, будь то обращение к документам и воспоминаниям современников или анализ переписки, особенно же извлечение биографии из творчества, так или иначе замыкались на том, как он сам хотел представить себя потомству. Дальше начинался неизбежный процесс интерпретации биографии и ее составляющих в разных направлениях, в том числе конъюнктурных.

Возможным является как следование тому образу, который создал в отношении себя сам Пушкин, так и выстраивание как бы объективного, синтезирующего образа. Как бы – так как выстраивают его конкретные личности, со своими взглядами и пристрастиями, вносящими субъективное начало. К примеру, В.В. Вересаев попытался выстроить биографическую картину языком документов и свидетельств современников в книге «Пушкин в жизни», но на этот труд отбрасывает свою тень другая его книга – «Современники Пушкина» с ее социологическими, вульгаризированными подходами, склонностью к погружению в интимный мир поэта, трактовкой его в соответствии с собственными воззрениями.

Глубоко религиозный человек и атеист, монархист и республиканец, моралист и аморалист, оптимист и пессимист (этот сопоставительный ряд может быть продолжен) находили и находят себе опору в Пушкине, как ни в каком другом писателе. Однако Пушкин постоянно предупреждал читателя от прямолинейного соотне-

сения себя со своими лирическими героями, как сделал это в отношении Онегина (LVI строфа I-ой гл.):

Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.

Впервые о самом себе Пушкин напишет в известном лицейском стихотворении на французском языке «Mon portrait» («Мой портрет»). По всей вероятности, это стихотворная разработка известной темы «Mon portrait physique et moral», задававшейся педагогами по французскому языку. Если отвлечься от шутливого тона, в котором выдержано стихотворение, то мы должны признать в том, что, судя по всему, что нам известно о Пушкине, портрет, созданный им, верен во всех деталях. Что же касается тона, то только в таком и ни в каком другом могла быть написана подобная характеристика. Каждая строчка этого стихотворения может быть раскрыта в многообразии примеров при обращении к жизни поэта на всем ее протяжении. Здесь более чем уместно вспомнить известное высказывание, что в каждой шутке есть доля истины.

В жанре собственно автобиографическом писать о себе столь же раскованно невозможно. Пушкин несколько раз принимался за свою биографию, но так и не написал ее. Широко известно, что он сжег свои неоконченные записки при известии о 14-м декабря. Однако речь в них шла прежде всего о других, о знакомых ему членах тайных обществ, в частности, что и побудило поэта их уничтожить. О других, а не о себе. Трудность писать всерьез о себе самом Пушкин отмечал не однажды.

Как раз незадолго до восстания декабристов и сожжения записок он писал Вяземскому во второй половине ноября 1825 года: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Чорт с ними! слава



Богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо – а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с Гением. Поступок Мура лучше его Лалла-Рук (в его поэтическом отношении). Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. – Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости, она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок – не так, как вы – иначе. Писать свои *Memoires* заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать – можно; быть искренним – невозможность физическая...» (XIII, 243-244).*

Все сказанное в этом письме можно отнести к самому Пушкину, который в это время как раз пишет вскоре уничтоженные записки. Позднее он вновь принимался за автобиографию, но так и не завершил ее. Образ самого себя он представлял для современников и сохранил для потомства посредством творчества и писем, явно рассчитанных на широкого читателя. В создании этого образа нетрудно выделить три ведущих мотива – происхождения, «утаенной любви» и гонения.

«Африканское происхождение»

Важнейшим компонентом создания Пушкиным своего образа и стороннего восприятия его современниками и потомками являлось африканское происхождение поэта. Еще в примечании к L строфе первой главы «Евгения Онегина» Пушкин обещал написать историю своего предка Ганнибала, заметив по поводу стиха «Под небом Африки моей»: «Автор, со стороны матери происхождения африканского» (VI, 654). Это происхождение придает особый, если можно так сказать, «окрас» всей биографии поэта. Однако,

* Все цитаты из Пушкина, если цитируемое издание не оговаривается особо, даются по Полному собранию сочинений в 17 т. (М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1937-1949). При ссылках римская цифра означает номер тома, арабская – страницу.



если бы сам Пушкин так не акцентировал внимание читателей на своем происхождении, то современники могли бы и забыть об этом, а потомки помнить, как помним мы, что матерью В.А. Жуковского была пленная турчанка, но на этом вовсе не основываем своего представления о нем и его творчестве.

Африканское же происхождение Пушкина нашло самое разнообразное отражение не только в его творчестве, оно стало питательной средой для разного рода выпадов против Пушкина его литературных и не только литературных противников. Однако не следует забывать, что Пушкин сам заостряет внимание своих читателей на своем происхождении. «Потомок негров безобразный», — так впервые сказал Пушкин о себе как о кровном наследнике выходца из Африки в послании «Юрьеву (Любимец ветреных Лис...)» (1820):

А я, повеса вечно-праздный,
Потомок негров безобразный,
Взрощенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний;
С невольным пламенем ланит
Украдкой нимфа молодая,
Сама себя не понимая,
На фавна иногда глядит.

В письмах, явно рассчитанных на прочтение не только одним корреспондентом, как в письме брату Льву в начале 1825 года из Михайловского, Пушкин отмечает «арапскую рожу» своего прадеда: «Присоветуй Рылееву в новой его поэме поместить в свите Петра I нашего дедушку. Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы» (XIII, 143). В поэме «Войнаровский», о которой идет речь, «дедушка» Ганнибал Рылеевым помещен не будет, но на всю картину жизни Пушкина, какой мы ее представляем, его «арапская рожа» произвела необычайное влияние.

Сам Пушкин выведет своего предка на страницах ему посвященного романа, называя его в нем «Le Negre du czar»: «Появление Ибрагимма, его наружность, образование и природный ум возбуждали в Париже общее внимание» (VIII, 4). В этом романе, на-

писанном вскоре после первого неудачного сватовства к С.Ф. Пушкиной, весьма красочно описаны наружность и характер главного его героя устами другого персонажа – Корсакова, отговаривающего своего приятеля от брака: «С твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплюснутым носом, вздутыми губами, с шершавой шерстью бросаться во все опасности женитьбы?» (VIII, 30).

В свете этих пушкинских зарисовок отнюдь не случайным представляется то, что и художники, писавшие Пушкина, акцентировали свое внимание на экзотической африканской стороне его облика. Так повелось, начиная с первого его портрета, приложенного к изданию «Руслана и Людмилы», представившего к тому времени уже двадцатилетнего поэта в виде юного отрока с внешностью арапчонка. В стихах на другой, самый свой знаменитый портрет работы Кипренского 1827 года Пушкин опять же не преминул заметить:

Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.

Еще более определенно скажет Пушкин в мае 1828 года, откликнувшись на желание английского художника Джоржа Доу зарисовать его на борту пироскафа по пути из Петербурга в Кронштадт:

Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель.

Рассуждения на эту тему можно продолжить, но один вывод можно уже сделать в том смысле, что Пушкин сам «предает векам» свою внешность. Это произошло бы даже, если бы он не обладал сам прекрасным даром портретиста. Однако протяженный ряд автопортретов, созданный Пушкиным, наглядно демонстрирует установки поэта в представлении самого себя.

Автопортрет всегда был для Пушкина неотъемлемой частью его маски. Самые ранние из этих масок причудливым образом соединяют романтические «кудри до плеч» с характерными признаками африканской породы: это пухлые чувственные губы, вздутые ноздри. Все это вписывается в создаваемый образ. Ожидаемое восприятие строилось на контрасте этого африканского начала с евро-



пейским обликом автора в целом, иногда явленного в виде разочарованного денди. Таков один из ранних автопортретов, сделанный в мае 1821 года в рукописи поэмы «Кавказский пленник» рядом со стихами, посвященными пленнику:

Но русский жизни молодой
Давно утратил сладострастье.
Не мог он сердцем отвечать
Любви младенческой, открытой –
Быть может, сам любви забытой
Боялся он вспоминать [1, С.22].

Принципиально иным, опрошенным представляет Пушкин себя на первом автопортрете уже михайловского, деревенского периода своей жизни на полях очерка «О поэзии классической и романтической» рядом с портретом Вольтера. При этом нарочито выставлены напоказ новый его наряд, русская рубашка-косоворотка, усы и бакенбарды, все то, что так поразило в облике ссыльного Пушкина мещанина Ивана Лапина на Святогорской ярмарке 29 мая 1825 года: «У него была надета на голове соломенная шляпа, в ситцевой красной рубашке, опоясавши голубою ленточкою, с железною в руке тростию, с предлинными чор(ными) бакенбардами, которые более походят на бороду; также с предлинными ногтями, которыми он очищал шкорлупу в апельсинах и ел их с большим аппетитом, и думаю – около ½ дюжины» [2].

Среди автопортретов-образов, когда мы говорим о том генетическом ходе, который определен для Пушкина Африкой, прежде всего следует отметить соотносящиеся с ганнибаловским началом их создателя. Так, в черновиках романа «Арап Петра Великого» мы встречаем шаржированный автопортрет в образе «арапа», каким его представляет Пушкин в самом тексте, – «со сплюсненным носом», «вывернутыми губами» и другими типологическими чертами. Другой автопортрет того же ряда восходит к рукописям второй главы «Евгения Онегина», где Пушкин представляет себя в наряде придворного арапа, в рост, в тюрбане с пером, рисунок, который даже трактовали как портрет Абрама Ганнибала, которому придано сходство с его правнуком [1, С.27, 41]. Между тем только что была закончена первая глава, последняя строфа которой и примечание к ней относят нас к прародине поэта.



Именно в шаржированных автопортретах, в специфическом русле этого жанра, наиболее последовательно выявляется наследственное африканское начало. К примеру, в своеобразном автопортрете в виде скульптурного бюста, увенчанного лавровым венком, нарочито выделены те внешние признаки, которые сам поэт относил к «арапским», подчеркивая их в стихах и прозе. Под рисунком подписано: «il gran padre AP» [1, С.54].

Один из самых непосредственных и веселых пушкинских автопортретов-импровизаций был сделан 14 июня 1828 года при проходах на почтовой станции Стрельна в записную книжку Николаю Дмитриевичу Киселеву, отъезжавшему за границу [1, С.42]. Под портретом был набросан шуточный экспромт:

Ищи в чужом краю здоровья и свободы,
Но Север забывать грешно.
Так слушай: поспевай карлсбадские пить воды,
Чтоб с нами снова пить вино.

Этот автопортрет и те, которые были нарисованы в ушаковский альбом, – единственные, исполненные Пушкиным не для себя, не в рукописях, которые стали нам доступны только после его смерти, а для посторонних, рассчитанные с самого начала на их восприятие. С тех пор, как они стали воспроизводиться в собраниях сочинений Пушкина, они вошли как в научный оборот, так и в сознание массового читателя, неразрывно связавшись с его текстами.

Мотив «угаенной любви»

Другим элементом мифологемы, связанной с Пушкиным, несомненно является мотив «угаенной любви», разыгранный им самим, подхваченный современниками и развитый в разных направлениях несколькими поколениями пушкинистов. «Обращаясь к этому удивительному литературному феномену, мы вступаем, – пишет Р.В. Иезуитова, – в «тайное тайных», глубоко сокровенную жизнь Пушкина, касаемся тех ее сторон, которые помогают понять и осмыслить самые яркие и романтически возвышенные шедевры его поэзии» [3]. Разгадке «угаенной любви» посвящены многие страницы пушкинианы. Отсылая за историей вопроса к процитированной статье, позволим сделать всего одно, но весьма существенное наблюдение.

Оно касается того, что Пушкин явно сам задает тон в разыгрывании мотива «утаенной» любви, когда пишет о ней в письмах, исполненных упрека за то, что друзья, приятели, собратья по перу и издатели вольно трактуют его откровения, предают гласности упоминания о «ней» и т.д. Особенно наглядно эта явная литературно-мифотворческая игра проявилась в истории с прочитыванием «Бахчисарайского фонтана».

В письме к брату из Одессы от 25 августа 1823 года Пушкин пишет: «Здесь Туманский. Он добрый малый, да иногда врет – напр<имер>, он пишет в П.<етер> Б.<ург> письмо, где говорит, между прочим, обо мне: Пушкин открыл мне немедленно свое сердце и porte-feuille – любовь и пр... – фраза достойная В. Козлова; дело в том, что я прочел ему отрывки из Бахчисарайского фонтана (новой моей поэмы), сказав, что я не желал бы ее напечатать, потому что многие места относятся к женщине, в которую я был очень долго и очень глупо влюблен, и что роль Петрарки мне не по нутру. Туманский принял это за сердечную доверенность и посвящает меня в Шаликовы – помогите!» (XIII, 67). Совершенно очевидно, что это письмо рассчитано на распространение, но отнюдь не с тем, чтобы предупредить толки об «утаенной любви», а напротив возбудить их. В том, что это элемент именно литературной игры убеждает конец письма с выпадом относительно Петрарки.

В том же роде Пушкин пишет Бестужеву 29 июня 1824 года из Одессы: «Бог тебя простит! но ты осрамил меня в нынешней «Звезде» – напечатав 3 последних стиха моей «Элегии»; черт дернул меня написать еще кстати о «Бахчисарайском фонтане» какие-то чувствительные строчки и припомнить тут же мою элегическую красавицу. Вообрази мое отчаяние, когда увидел их напечатанными – журнал может попасть ей в руки, что ж она подумает, видя с какой охотой беседую об ней с одним из петербургских приятелей. Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгариным – что проклятая «Элегия» доставлена тебе черт знает кем – и что никто не виноват. Признаюсь, одною мыслию этой женщины дорожу я более, чем мнениями всех журналов на свете и всей нашей публики. Голова у меня закружилась...» (XIII, 100-101).

Некая биографическая реальность несомненно имела место в истории с «утаенной любовью», но ни одна из фигур, предлагавшихся



в качестве прототипа этого образа таинственной возлюбленной, в полной мере не отвечала тем признакам его, которые выявляются текстами и фактами биографии Пушкина. Список предполагаемых прототипов открывает Е.П. Бакунина. М.О. Гершензон писал о «северной любви» – Марии Аркадьевне Голицыной, П.Е. Шеголев о «южной» – Марии Николаевне Раевской, Л.П. Гроссман называл имя С.С. Потоцкой-Киселевой, Т.Г. Цявловская фактически связала «утаенную любовь» с Е.К. Воронцовой, «разгадав» и еще одно имя – Каролины Собаньской. Этот список дополнили Екатерина Буткевич, в замужестве Стройновская, Амалия Ризнич и Калипсо Полихрони. За счет так называемого «Дон-Жуанского списка» этот ряд может быть пополнен. Построенный в хронологическом порядке список включает в себя шестнадцать имен от «Натальи I» (вероятнее всего Кочубей) до «Натальи» (Гончаровой), он дает – и дал уже – возможность ряду исследователей находить в нем укрытые прототипы «утаенной любви». Уже давно особенно привлекло имя, обозначенное латинскими литерами «NN», по поводу которых высказалась Т.Г. Цявловская, именно за ними углядевшая «предмет «северной» мучительной любви, может быть, безответной, во всяком случае, как-то оборвавшейся» [4]. Р.В. Иезуитова предположила, что этой «загадочной женщиной» вполне могла быть упомянутая уже гр. Екатерина Стройновская, корректно оговорившись, «если NN не мистификация со стороны поэта» [3, С.238].

Вполне определенно высказался по поводу неведомой возлюбленной В.В. Набоков, комментируя известное «отступление о ножках» в первой главе «Евгения Онегина»: «Любители прототипов, как правило, ищут одну-единственную обладательницу таинственных ножек, тогда как Пушкин на протяжении строф XXX – XXXIV писал о нескольких и подтвердил это в гл. 5, XI, 7, когда вспомнил свое отступление (гл. I) «о ножках мне знакомых дам»... Итого как минимум четыре женщины, чье предположительное или возможное существование в «реальной жизни» не представляет ни малейшего интереса» [5, С.169-170].

В своих русскоязычных «Заметках переводчика» Набоков хотя и в шуточной форме, но не удержался высказаться, тем не менее, в отношении прототипа: «Окончательное мое впечатление: если ножки, воспеты в строфе XXXIII, и имеют конкретную хозяйку,



то одна из ножек принадлежит Екатерине Раевской, а другая Елизавете Воронцовой» [5, С.166]. Однако в самом комментарии указал на зыбкость всякого построения такого рода: «В заключение скажу: гипотеза, что стеклянный башмачок был не впору Марии Раевской, а принадлежал ее сестре Катерине, от которой перешел к Елизавете Воронцовой, кажется весьма стройной, но, вероятно, может быть разрушена так же легко, как прежние замки из того же морского песка» [5, С.814].

Мотив гонения и побега

Если внимательно проанализировать план пушкинской автобиографии, особенно заключительные его пункты, на которых он обрывается, то можно отметить несомненную акцентацию его на теме гонения. Пушкин пишет: «Рача, Гаврила Пушкин. Пушкины при царях, при Романовых. Казненный Пушкин. При Екатерине II. Гонимы. Гоним и я». Избирательность сюжетов из истории пушкинского рода и тенденция в их разработке очевидна. Пушкин заостряет внимание на тех именах, которые вошли в общую и частную историю как имена гонимых, подвергшихся опалам, ссылкам и казням. В своей собственной судьбе Пушкин видит как бы развитие этой роковой семейной темы. Однако в значительной степени поэт сам придает роковой оттенок семейной истории, тем лицам и событиям, которые он избирает, игнорируя зачастую то, что не укладывается в эту схему.

Такая тенденция, имеющая биографический подтекст, проявилась уже в «Борисе Годунове», писанном ссыльным автором. Так, вопреки основному его историческому источнику «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина, Гаврила Пушкин представлен по отзыву Басманова «опальным изгнанником», который в силу этого и был врагом Бориса, замечающего в трагедии: «Противен мне род Пушкиных мятежный». Академик С.Б. Веселовский заметил по этому поводу: «Поскольку опальных людей никогда не ссылали в чужие государства, то это выражение следует признать как обмолвку» [6, С.77]. Эту обмолвку историк объясняет тем, что Пушкин неправильно понял текст Карамзина, но Пушкин исходил не из буквы текста, а из его смысла. По поводу «мятежности» рода Веселовский высказался вполне определенно: «Само собою разумеется, что ни о какой «мятежности» рода Пушкиных не может



быть и речи» [6, С.88]. Разбирая пушкинские высказывания с позиции историка, С.Б. Веселовский, тем не менее, отмечает взаимосвязь пушкинских «оговорок» с процессом творчества: «Сознавая в самом себе «мятежный» дух, Пушкин воссоздал образ Гаврилы Григорьевича и вложил в уста царя Бориса известную фразу о «мятежном» роде Пушкиных» [6, С.81].

Отмеченная тенденция в полной мере оказалась выраженной в стихотворении «Моя родословная»: «Упрямства дух нам всем подгадил: / В родню свою неукротим, / С Петром мой пращур не поладил / И был за то повешен им; / Попали в честь тогда Орловы, / А дед мой в крепость, в карантин» и т.д. По поводу «казненного Пушкина» опять же С.Б. Веселовский заметил, что Пушкин не был осведомлен о роли своей «неукротимой родни» в описываемых событиях, в том, что они явились всего лишь второстепенными участниками заговора, хотя и пострадали при его раскрытии. Что касается деда, попавшего в крепость, то по этому поводу недоумевал уже отец поэта С.Л. Пушкин, писавший, что Лев Александрович «не содержался в крепости 2-х лет: он находился некоторое время под домашним арестом – это правда, но пользовался свободой» [7]. К тому же наказание было связано вовсе не с восшествием на престол Екатерины II, а всего лишь с «непорядочными побоями находящегося у него на службе венецианца Харлампия Меркадия». Зато Пушкин проигнорировал действительно опасных Пушкиных, но осужденных за «умысел к подделыванию асигнаций», так как этот факт не укладывался в выстраиваемую им версию, отвечающую концепции «гонимых Пушкиных». Главное в этой концепции и было как раз представить себя, гонимого поэта, на фоне гонимых предков как некую закономерность исторической судьбы. Именно эта пушкинская концепция победила в конечном итоге, и мы, исходя из нее, представляем себе судьбу самого поэта.

Тема гонения неразрывно связывается у Пушкина с темой побега. Еще в ранней юности Пушкина в его творчестве звучат мотивы узничества и побега, но они носят чисто литературный характер, не имея биографической основы: узничество ограничивается «мрачной кельей», побег же лишь от «шума городского». Высылка из Петербурга, южная ссылка, преследования М.С. Воронцова, состояние михайловского изгнанника создают уже реальную основу поэтическим темам гонения и побега.

В сентябре 1824 года Пушкин послал А.Н. Вульфу письмо на имя Н.М. Языкова с посланием: «Издревле сладостный союз...», в котором были и такие строки:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю, где проснусь.
Всегда гоним, теперь в изгнание
Влачу закованные дни.

Не случайно, что в этом же стихотворении звучит тема Африки: «О дальней Африке своей...». С нею связывается тема поэтического побега.

В этом первом известном письме из Михайловского, периода ссылки, Пушкин посылает и шутивное послание «Здравствуй, Вульф, приятель мой!» В самом письме речь идет о «строгом присмотре» и о «двойном конверте». К тому же из осторожности оно переслано от имени Анны Николаевны (XIII, 108-109). Тогда же Пушкин пишет Вяземскому: «...Скучно писать про себя – или справляясь в уме с таблицей умножения глупости Бирукова, разделенного на Красовского» (XIII, 111). В зависимости от адресата одна и та же тема ссыльного изгнанника приобретает свои оттенки. К примеру в письме одному из друзей «минутной юности» Н.В. Всеволожскому он пишет в конце октября 1824 года: «...ты помнишь П<ушкина>, проведшего с тобою столько веселых часов – П<ушкина>, которого ты видал и пьян<ого> и влюб<енного> (...) Я раскаялся, но поздно – ныне решил я исправить свои погрешности, начиная с моих стихов (...) царь не дает мне свободы...» (XIII, 115).

Сам себя в качестве изгнанника, свою жизнь в Михайловском Пушкин представляет в ряде писем, а жаждущих подробностей читателей отсылает к четвертой главе «Онегина». Брату, к примеру, он пишет в первой половине ноября 1824 года, вполне рассчитывая на широкое распространение письма: «Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно, после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания» (XIII, 121). В том же роде и одесскому приятелю Д.М. Шварцу около 9 декабря 1824 года: «Соседей около меня мало, я знаком только с одним семейством, и то



вижу его довольно редко – целый день верхом – вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны...» (XIII, 129). Цитатный ряд можно продолжить, он по-своему представляет нам Пушкина в изгнании. На основании его писем и создается, прежде всего, картина жизни поэта в Михайловском.

Именно в михайловский период сложились те принципы представления самого себя, которые образуют основу устойчивой мифологемы, связанной с именем Пушкина, ее во многом и сформировавшего. Она получила развитие в дальнейшем творчестве и эпистолярной поэзии, в том числе по тем трем линиям, зарождение которых в некоторой мере прослежено выше.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 18. Рисунки. Изд-во «Воскресение». М., 1996. С. 22.
2. Дневник Ивана Игнатьевича Лапина. Псков, 1997. С. 135-136.
3. Иезуитова Р.В. «Утаенная любовь» Пушкина // Легенды и мифы о Пушкине. Изд. 3-е. СПб., 1999. С.216.
4. Цявловская Т.Г. «Храни меня, мой талисман» // Прометей. М., 1974. Вып. 10. С. 68.
5. Владимир Набоков. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» УСПб., 1998.
6. Веселовский С.Б. Род и предки А.С. Пушкина в истории // Род и предки А.С. Пушкина. М., 1995.
7. Современник. 1840. Т. 19. С. 103-104.





Содержание

Телетова Н.К.

Набоков и Цветаева о Пушкине
как современнике 5

Юрьева И.Ю.

Некоторые проблемы жизни и творчества
Пушкина в оценке пушкинистов XX века..... 11

Сидорова М.М.

А.С. Пушкин в оценке профессоров.
казанского университета XIX века..... 18

Воронова Л.Я.

Из истории Пушкинского общества
в Казани..... 24

Парчевская И.Ю.

Поэт и музей 35

Бесарабова М.А.

А.С. Пушкин – поэт-этнограф..... 44

Вершинина Н.Л.

Пушкинская традиция
в лирике Н.А. Некрасова
(поэтика «возможного сюжета») 60



Черноземова Е.Н.

«Министр иностранных дел на
Парнасе русской словесности»
в творческом взаимодействии
с английской культурой.....67

Кормилов С.И.

О теоретико-литературных
представлениях Пушкина78

Невская В.А.

Неизвестный вариант реконструкции
десятой главы «Евгения Онегина».....90

Руднев А.П.

Пушкин в художественном мире
А.Н. Толстого.....99

Старк В.П.

Пушкин в представлении Пушкина..... 111





**Об авторах сборника
«Михайловская Пушкиниана»,
выпуск 14**

Бесарабова Майя Альбертовна – старший научный сотрудник, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Вершинина Наталья Леонидовна – доктор филологических наук, зав. кафедрой литературы, Псковский педагогический институт

Воронова Людмила Яковлевна – доцент, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы, Казанский государственный университет

Кормилов Сергей Иванович – доктор филологических наук, профессор, Московский государственный университет

Невская Вера Александровна – зав. научно-методическим отделом, Государственный музей А.С. Пушкина (Москва)

Парчевская Ирина Юрьевна – зав. экспозиционно-выставочным отделом, Государственный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское»

Руднев Александр Петрович – кандидат филологических наук (Москва)



Сидорова Марина Михайловна – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы, Казанский государственный университет

Старк Вадим Петрович – доктор филологических наук, Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом)

Телетова Наталия Константиновна – кандидат филологических наук, Институт им. И.Е.Репина Академии художеств (г. Санкт-Петербург)

Черноземова Елена Николаевна – доктор филологических наук, профессор, Московский государственный педагогический университет

Юрьева Ирина Юрьевна – кандидат филологических наук, руководитель Пушкинской программы, Российский фонд культуры (Москва)



МИХАЙЛОВСКАЯ ПУШКИНИАНА

Сборник научных статей по материалам конференции
«У каждого времени свой Пушкин»

Выпуск 14

Редактор Е.Б. Егорова
Корректор Е.А. Коржикова
Компьютерная верстка и макет Г.Б. Морозенко

Издательство «Вербум-М»
111024, Москва, 5-я Кабельная улица, д. 2Б.
Тел./факс 273-76-42
Издательская лицензия ЛР № 066334 от 23.02.99

Сдано в набор 16.01.2001. Подписано в печать 19.03.2001
Формат 60×90 1/16. Гарнитура Гарамонд.
Объем 10 уч.-изд. л. Тираж 1000 экз.

Типография ООО «Галлея-Принт». Заказ
111024, Москва, 5-я Кабельная улица, д. 2Б



ISBN 5-8391-0073-0



9 785839 100732